

Ф. Шейдеман
КРУШЕНИЕ
ГЕРМАНСКОЙ
ИМПЕРИИ



Союздети́здатское Издательство
Москва — Ленинград.
1925.

Ф. ШЕЙДЕМАН

КРУШЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
С ПРЕДИСЛОВИЕМ
МИХ. ПАВЛОВИЧА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — ПЕТРОГРАД
1923

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Немецкая литература, посвященная крушению германской империи и революции, довольно обширна. Мы имеем уже книги Эд. Бернштейна (Германская революция, т. I. История возникновения и первого периода работы германской республики); Густава Носке (От Киля до Кайна); Э. Бухнера (Документы революции, т. I. Под знаком красного знамени); Г. Штребеля (Германская революция, ее несчастье и спасение); Ф. Рункеля (Германская революция); Э. Барта („Из мастерской германской революции“), и многое другое.

В литературе о германской революции и причинах ее крушения, равно как о поведении германской социал-демократии в период от начала войны до 1922 г., книга Шейдемана занимает видное место. Позорное поведение вождей германской социал-демократии, которые, прикрываясь флагом социализма, воспользовались своим неограниченным влиянием на миллионы и миллионы немецких рабочих, чтобы санкционировать все преступные действия обе-

зумевшей военщины вплоть до нарушения нейтралитета Бельгии и затянуть войну на четыре года, а затем, после попыток спасти монархию и трон Гогенцоллернов, сделали все от них зависящее, чтобы парализовать или совершенно уничтожить истинно революционные элементы германского пролетариата и убить Розу Люксембург и К. Либкнехта,—с несбываемой яркостью рисуется в мемуарах Шейдемана, этого самовлюбленного оппортуниста, агента Гогенцоллернов и правящих классов, в своем моральном падении не замечающего даже всей низости делаемых им откровенных признаний.

Автор начинает свои воспоминания с описания того негодования, которое овладело им при известии о пресловутом австрийском ультиматуме Сербии, вызвавшем мировую войну. „Я остолбенел от негодования... Я считаю ультиматум чудовищным и совершенно ясно вижу, что Австрия хочет войны“, пишет Шейдеман (см. стр. 24). На стр. 25 автор с негодованием говорит о науськиваниях на войну с немецкой стороны и считает сообщение о приказе Вильгельма о немедленной мобилизации германской армии и германского флота провокацией. „Будут ли когданибудь полностью раскрыты все науськивания на войну, скрывающиеся за такими выступлениями?“—воскликает он.

После таких признаний можно было ожидать, что Шейдеман сделает все от него зависящее, чтобы помешать войне или во всяком случае, выяснить рабо-

чим массам истинный характер разыгрывающихся событий. Ничуть не бывало. На стр. 28—29 Шейдеман описывает заседание президиума социал-демократической фракции рейхстага по вопросу о том, голосовать ли в рейхстаге за военные кредиты или нет. Само собой разумеется, что то или другое решение по данному вопросу фракции в 111 человек имело бы громадное международное значение. Протест против войны, отклонение кредитов или, даже, воздержание от голосования социал-демократической фракции рейхстага сыграли бы при данных обстоятельствах роль величайшего революционного фактора не только для Германии, но и в мировом масштабе. Но, понятно, это менее всего входило в планы Шейдемана. Гаазе, Ледебур высказались за отклонение кредитов, Давид, Фишер, Молькенбур и Шейдеман—за принятие. Любопытно замечание, которое делает Шейдеман по поводу „непреклонности“ Гаазе и Ледебур. Последние лицемерно высказывались за отклонение кредитов: „казалось, они рады тому, что они остались в меньшинстве“; более того, как подчеркивает с возмущением Шейдеман (стр. 31), Гаазе в беседе с депутатами других партий старался скрыть, что он лично против принятия кредитов. Хороши вожди партии!

Верх комизма и одновременно цинизма—страницы, посвященные описанию того, как ловко вожди социал-демократической партии обошли страшный подводный камень, заключавшийся в том, что при открытии

заседания в Белом дворце по случаю объявления войны приходилось принять участие в приветственном возгласе в честь Вильгельма II: „Ура императору“. Революционно-настроенный Шейдеман заявил, что он в крайности может примириться лишь с возгласом: „Ура императору, народу и родине“. Это предложение было принято самим Дельбрюком, и, как самодовольно подчеркивает Шейдеман, даже неистовый, бурно-пламенный Гаазе был счастлив, что „правительство само сделало такую большую уступку демократии“.

Любопытно и поведение Каутского в вопросе о кредитах. Оказывается, что на заседании всей социал-демократической фракции рейхстага, 14 членов, в том числе К. Либкнехт, говорили за необходимость отклонения кредитов, остальные 76 (из 92 присутствовавших на заседании) высказались за принятие кредитов. В числе этих последних был и Каутский.

Шейдеман рисует самого себя, правда, бессознательно, в самом непривлекательном виде, как холона, который не может забыть, того, что сам канцлер Бетман Гольвег в историческом зале в Вильгельмштрассе долго жал ему руку, как правительственному лакею, в котором канцлер и тайные советники настолько уверены, что подносят ему для произнесения от имени социал-демократии составленный в канцелярии канцлера проект речи, в которой говорится о преданности германской социал-демократии и всего немецкого рабочего класса своему импера-

тору (стр. 67—68). Описывая самого себя в виде непроходимого дурака или отъявленного лицемера, который пытается доказать, что-де речи канцлера и всех германских империалистов о Великой Германии, как о цели войны, отнюдь не следует понимать в смысле территориальном, будто Германия стремится расширить свои территории („когда говорят о великих людях, то тоже имеют в виду не сантиметры их роста“ ... и т. д. „Победи Германия в настоящей войне, она действительно будет сильнее и больше прежнего, пусть территория ее не возрастет ни на один квадратный метр“—стр. 49), Шейдеман одновременно дает много штрихов, характеризующих его достойных соратников и друзей. Так, он рассказывает, как один из его партийных товарищей и друзей, перед самой катастрофой 9 января, жестоко набросился на одного члена партии за то, что тот назвал требование отречения монарха само собой разумеющимся. „Когда 9 ноября 1918 г.,—продолжает Шейдеман,—отряд рабочих и солдат вытащил меня из столовой рейхстага и заставил меня говорить перед собравшимся народом, и я, правда, без всяких к тому оснований, но как это вполне понятно со стороны социал-демократа, заговорил о республике, то тот же товарищ сделал мне ряд жестоких упреков. Я-де не имел никакого права на это, ибо форму правления устанавливает Учредительное Собрание“. Здесь все характерно: и то, что крушение монархии было „катастро-

фой“, и то, что Шейдеман имел партийных друзей, которые стояли за сохранение монархии, и то, что Шейдемана пришлось „вытащить“ из столовой, чтобы заставить говорить перед собравшимся народом, и то, что он, по собственному признанию, „без всяких к тому оснований“ заговорил о республике и, наконец, то, что за подобную непоследовательность и опрометчивость он подвергся жестоким упрекам со стороны товарища по партии. Вообще, по признанию Шейдемана, среди руководящих членов социал-демократической партии было не мало таких революционеров, которые не сочувствовали борьбе против монархии.

Большой интерес представляют страницы мемуаров, посвященные подводной войне. Как выясняется из этих страниц, одним из мотивов, толкнувших главное командование к объявлению беспощадной подводной войны, поведшей в конечном результате к вмешательству Америки и к ускорению разгрома Германии, был сильнейший „упадок-морали в армии“, которая устала сражаться. Под Верденом четыре французские дивизии обратили в бегство и взяли в плен пять немецких дивизий. Военное начальство видело в этих несомненных фактах упадок военного духа и готовности сражаться вследствие разговоров о мире. Подобная война должна была послужить стимулом для немецких войск, своего рода возбуждающим средством. Вместе с тем, военное командование принимало на веру фантастические выкладки

Гельфериха, доказывавшего, что у Англии осталось естественных припасов всего на шесть недель, и вместе с тем воображало, что конфликт с Америкой в результате подводной войны ограничится разрывом дипломатических сношений.

Объявление подводной войны отнюдь не подняло, как явствует из мемуаров, боевого настроения в Германии, а наоборот, настроение пало ниже нуля. Последовавшее затем присоединение Америки к враждебной коалиции подорвало в широких массах, измученных войной, всякую веру в возможность победы. Дух недовольства, революционное настроение все больше усиливались в населении, особенно в рабочих массах. Одновременно волновались и низы армии, которая с нетерпением ждала конца войны. Как признает Шейдеман, в период Стокгольмской конференции над всеми окопами стояла мысль о Стокгольме, как о новой Вифлеемской звезде, которая должна привести к яслям мира. „В течение трех месяцев мысль миллионов армий была направлена на результаты переговоров между представителями рабочих, и понятно, что бесплодность переговоров бесконечно усилила усталость от войны и отвращение к затягивающим войну аннексионным вождедениям“ (стр. 159, 160. Курсив наш).

Шейдеман описывает в своей книге массовые забастовки в Германии в апреле 1917 г., когда в одном Берлине бастовало 125,000 рабочих, занятых в

снарядных мастерских, затем массовую забастовку в Берлине в январе 1918 г. Он признает, что „условия жизни трудового населения стали положительно невыносимы“, что „психика народа изменилась за время войны, а также после русской революции“ (стр. 83), — он подчеркивает нарастающие революционные настроения в армии, говорит о вспышках отчаяния в разных местах империи, о грозящих внутренних катастрофах и величайших опасностях.

Читая эти страницы, эти невольные признания вождя германского оппортунизма, убеждаешься в той колоссальной роли, которую сыграли во время мировой войны немецкая социал-демократическая партия, с ее Шейдеманами, Носке, Каутскими, в качестве величайшей реакционной силы. Своим громадным влиянием на рабочие массы, на миллионы солдат на фронте и миллионы пролетариев на фабриках и заводах—Шейдемань, Носке и Каутские со всей их почтенной братией воспользовались только для того, чтобы парализовать или совершенно убить в окопах и в тылу всякий дух революционной активности, жажду борьбы с правящей кликой. И шайка ренегатов Интернационала блестяще выполнила взятую на себя задачу. Можно сказать, что буржуазно-монархическая реакция и оголтелая военщина, тупая и недалководидная, не умевшая оценить силы внешнего врага, все же сумела превратить шайку оппортунистов и лакеев капитализма, покрывавшихся

флагом социализма, в самое свое могучее, хотя и слепое орудие для борьбы с народными массами. Миллионы людей в окопах и на фабриках были подготовлены объективным ходом событий к самым решительным сражениям на внутреннем фронте и рвались в бой, но вожди, в которых эти массы глубоко верили, за которыми готовы были слепо идти на смерть, играли изменническую роль и „продали шпагу свою“ злейшим врагам народа. А мы знаем, какую роль в гражданской, как и во внешней, войне играет генеральный штаб и верховное командование, неограниченный руководитель и мозг действующей армии.

Величайший интерес для характеристики мрачной роли руководителей германской социал-демократической партии во внешней и внутренней политике страны представляют страницы мемуаров, посвященные Брест-Литовскому миру. Сам Шейдеман признает, что здесь мог быть заложен прочный фундамент для создания всеобщего и подлинного мира (стр. 208), но что политическая ограниченность, дипломатическая бесчестность и военное тщеславие правящих кругов Германии не позволили этому осуществиться и, наконец, что „роль социал-демократической партии в этом выдающемся факте германской политики была, к сожалению, отрицательная“ (стр. 209). Даже Шейдеман настолько сознает весь позор и все бессмыслие поведения социал-демократической фракции в этом

вопросе, что он старается снять с себя часть ответственности за этот акт, отнявший последний шанс всеобщего мира и ускоривший военный разгром Германии. Шейдеман так горит нетерпением оправдаться в этом позорном деле, доказавшем наличие среди членов социал-демократической фракции многих открытых и тайных сторонников аннексии, объединившихся с тупоумными и подлыми руководителями военных кругов, что он на второй странице предисловия к своим мемуарам старается смыть с себя пятно позора участия в резолюции о Брестском мире и заявляет, что он-де лишь по соображениям партийной дисциплины принужден был защищать в пленуме рейхстага решение фракции о воздержании от голосования по вопросу о Брест-Литовском мирном договоре, тогда как во фракции он решительно выступал против мирного договора и требовал его отклонения. То же самое повторяет Шейдеман на стр. 209 своих мемуаров.

Допустим, что все это так и было. Но мы уже цитировали выше комментарии Шейдемана по поводу голосования Гаазе и Ледебур на закрытом заседании президиума фракции в начале войны за отклонение кредитов, комментарии, из которых явствует, что Гаазе и Ледебур, по мнению Шейдемана, голосовали против кредитов лишь для проформы, будучи на самом деле рады, что остались в меньшинстве. Очевидно, что во время голосования на заседании фракции о Брестском

договоре Шейдеман применил ту же лицемерную тактику и был очень рад тому, что остался в меньшинстве. Иначе, он не сыграл бы своей роли в этом акте, повинувшись соображениям партийной дисциплины, „не позволявшим огласки таких обстоятельств“ (стр. 25). Не помешали ведь эти самые соображения партийной дисциплины Шейдеману впоследствии кричать на всю Германию о том, что он не подпишет позорного Версальского договора, даже если подписания потребует партия. „Я принимал во внимание,—с лицемерным пафосом восклицает Шейдеман,—тот же позор, грозящий имени и чести германского народа, и своего имени не поставлю под договором, в котором мы признаем, что враги могут делать с нами, что хотят, что мы отбросы человечества — мы вообще, немцы“ (стр. 315. Курсив наш).

С поразительным самодовольством и оттенком самовлюбленности рассказывает Шейдеман о своей борьбе за отклонение Версальского договора. „Моя борьба за отклонение“ озаглавливает он эти страницы дневника. „Я был первым социал-демократом“, высказавшимся за отклонение. „Я сказал 12 мая в национальном собрании: какой честный человек, не говорю—немец, но какой местный, верный своему слову человек может пойти на эти условия? Какая рука не дрогнет, надевая на себя и на эти насоковы?.. Допускаю, что государство в конце концов должно будет уступить

силе и сказать: „Да“. Но одно я должен заверить: я не буду в числе тех, кто это делает“ (стр. 323, 324. Курсив наш).

Шейдеман, если верить ему, энергично возражал против подписания Версальского договора, опираясь особенно на соображения чести. Но где была эта честь, когда шел вопрос о голосовании военных кредитов, о защите в пленуме рейхстага чудовищного решения фракции о воздержании от голосования по вопросу о Брест-Литовском мирном договоре, столь же позорном и грабительском, как Версальский договор. Не здесь, не в вопросе о чести Шейдемана и партии, была зарыта собака. Шейдеман сам признает, что „государство в конце концов должно будет уступить силе“ и сказать да в ответ на требования Антанты. Стало быть, бывший президент Совета голосовал против, зная, что он останется в меньшинстве и что то, что необходимо, с его же—Шейдемана—точки зрения, сделать, будет сделано большинством, а между тем его имя, имя великого Шейдемана, которому принадлежит будущее, не будет запачкано участием в этой истории, в этом финале, так противоречащем тем надеждам, увлекаясь которыми господа Шейдеманы и Носке продали свои шнаги германской военщине, с ее реакционными помыслами и завоевательными планами.

Почему же этот шум, откуда этот барабанный бой, в связи с бесплодной борьбой за отклонение,

где искать мотивы этого саморекламирования, которым Шейдеман, заканчивая свои мемуары, изображает себя в виде легендарного героя, „первого социал-демократа, высказавшегося за отклонение“. Ларчик открывает нам сам Шейдеман: „По моему мнению — будущее принадлежит политикам, которые откажутся от этого позорного договора“, пишет он на стр. 314—315 своих мемуаров. На стр. 324 он повторяет: „Я убежден, что политическое будущее принадлежит единственно тем, кто на эти требования скажут прямо: нет“.

Итак, вот где зарыта собака. Государство, одним из официальных руководителей которого в некоторые моменты был Шейдеман, правительство, пособником которого он был весь период войны, конечно, вынуждено будет подписать позорный мир. Это ясно, как божий день. Иначе грозит наступление союзников на Берлин, распадение Германии, мир еще хуже Версальского и, может быть, — о ужас — торжество коммунистов. Но кто думает о своем политическом будущем, т. е. о своей личной карьере, пусть тот в ясном сознании, что и без него найдется более чем достаточно голосов за подписание договора, воздержится от участия в этой истории, которая может сильно повредить тем, кто приложит и свою подпись к „позорному“ документу.

Любопытны строки, которыми самовлюбленный автор заканчивает свои мемуары. „В воскресенье, утром — это было 22 июня 1919 г., когда члены националь-

ного собрания и правительства собрались в Веймарском театре, для принятия Версальского договора, — Ландсберг и я сложили с себя полномочия и уехали в Берлин. Крушение было завершено“. На первый взгляд, это взятие под одну общую скобку, именуемую крушением, двух таких совсем не равноценных по своему значению событий, как принятие Версальского договора и сложение с себя полномочий Шейдеманом, может казаться попросту lapsus linguae, обмолвкой. Но кто внимательно прочтет мемуары, тот убедится, что автор необычайно переоценивает историческую роль своей личности и придаст каждому своему жесту, каждому своему чиханию значение крупнейшего для многомиллионной партии и для всей Германии акта. Что же, при таких взглядах и при такой переоценке своей личности, Шейдеман мог видеть в сложении им с себя полномочий такую же катастрофу для Германии, как и принятие последней условий Версальского договора. Но если Шейдеман в столь критический момент решил бросить свою страну на произвол судьбы и оставить ее без руля и ветрил, он сделал это во имя великой цели, во имя своего собственного политического будущего, во имя своей личной карьеры, забота о которой у Шейдемана всегда стояла на первом плане.

Таковы поучительные мемуары этого карьериста, вождя германской социал-демократии, достойного соратника „кровоавой собаки“ Носке и других ренегатов

и предателей рабочего класса Германии, в крови затопивших героическое движение спартаковцев. Не станет день, когда „бандиты“ и „разбойники“, — как называет Шейдеман всех революционно-настроенных и активных немецких рабочих, — победоносно на этот раз поведут под своим знаменем на штурм умирающего строя миллионные массы, которых так долго обманывали господа Шейдеман; тогда последние будут привлечены к суровому народному суду, и лучшим обвинительным актом против всех этих изменников и ренегатов будут их собственные писания и мемуары.

И главное значение мемуаров Шейдемана заключается именно в том, что они, независимо от воли и желания автора, несмотря на все его подчистки и искажения событий, являются самым суровым обвинительным актом как против самого Шейдемана, так и против всех остальных лидеров социал-демократической партии, которые с первого дня войны „честно“ служили Вильгельму и всей буржуазии и изменнически предавали интересы одуроченных ими миллионов рабочего класса.

Мих. Павлович

ПРЕДИСЛОВИЕ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ.

Настоящая книга призвана изложить ряд событий до и после крушения Германской империи—событий, которые немногим пришлось пережить в такой непосредственной близости, как автору этой книги. Несколько книг о войне и преобразованиях, следовавших за падением империи, уже появились. Но все это книги, написанные в защиту авторов для освобождения их от того или иного обвинения—значит, книги тенденциозные. Дело об'ективного исторического исследования—установить истину. Такое исследование использует, конечно, и написанное теми, кто испытывал потребность защищаться, представлять оправдания и извинения. У автора настоящей книги такой потребности нет. Он хочет, пользуясь заметками, которые делал в течение шести лет, и на основе собственных переживаний, дать ряд очерков, способных заинтересовать широкие круги и, можно думать, не совсем бесполезных будущему историку. Если при этом на первом плане окажется сам автор и его партия, то это понятно, ибо все,

переживаемое автором, пережито им в качестве представителя своей партии. До войны он много лет подряд участвовал в президиуме социал-демократической партии. Во время войны он был председателем социал-демократической фракции в рейхстаге и часто выступал от ее имени с речами. На постах статс-секретаря, народного депутата и министра-президента он одинаково оставался уполномоченным представителем своей партии.

Автору так часто приходилось представлять свою партию в рейхстаге, на партийтагах, в печати и на собраниях, что партии и политики, враждебные ему и его партии, бескусно называли последнюю „шейдемановцами“.

Часто автора об'являли ответственным за решения его партии, против которых он сам боролся, но выступления в пользу которых становились в конце концов его партийною обязанностью. Это случалось чаще, чем думают за пределами партии. Соображения партийной дисциплины не позволяли огласки таких обстоятельств. Один яркий пример был, впрочем, оглашен одним из представителей президиума партии на партийтаге в Веймаре летом 1919 года: депутат Шейдеман принужден был защищать в пленуме рейхстага решение фракции о воздержании от голосования по вопросу о Брест-Литовском мирном договоре, тогда как во фракции он решительно выступал против мирного договора и требовал его отклонения.

Автора множество раз побуждали выпустить эту книгу. Она выходит в свет не в угрозу кому-либо и не для того, чтобы кому-нибудь досадить. В ней содержатся отдельные эпизоды бурного времени. Цельного изложения она не дает. Все эпизоды приходятся на критические периоды войны и месяцы, предшествовавшие крушению империи 9 ноября. Из очерков, заключающихся в этой книге, видно, что крушение империи явилось неизбежным следствием войны, как с большей или меньшей необходимостью произошло и все, последовавшее за крушением.

Ф. III.

На пороге мировой войны.

Перед войной германская социал-демократическая партия рассчитывала, политически и тактически, на мирную эволюцию к демократии и через демократию к социализму. Результаты выборов в рейхстаг позволяли говорить с уверенностью, что в относительно близком времени значительное большинство германского народа будет поддерживать социал-демократию. Уже в 1912 году из каждых трех избирателей один голосовал за социал-демократа. Много ли могло понадобиться времени для того, чтобы так стал голосовать один из каждых двух избирателей, чтобы за нами оказалось большинство? Что в наши намерения не входило допускать и тогда господство, политическое насилие над нами и экономическую эксплуатацию нас со стороны меньшинства—это было очевидно. Предметом внутри-партийных споров были, однако, стремления определенной группы к захвату политической власти ранее обеспечения себе большинства, путем „неустанных уличных демонстраций, массовых забастовок и т. п.“.

Я принадлежал к числу противников этой тактики. Главными ее сторонниками и пропагандистами выступали женщины—Люксембург и Цеткина. Мне казалось, что попытка насильственного овладения по-

литической властью со стороны меньшинства не только противоречила бы нашей партийной программе, научную основу которой мы постоянно подчеркивали с такой гордостью—мне казалось, что такая попытка и недемократична, и, по обстоятельному рассмотрению,—неумна. Ибо там, где можно с несомненностью рассчитывать, что революционная партия через 10 или 15 лет,—а что такое 15 лет в жизни народа!—почти автоматически привлечет на свою сторону большинство народа, а вместе с тем завоюет и неоспоримое право на овладение политической властью там представлялось мне непростительным преждевременно вовлекать народ в гражданскую войну, в которой не только, по моему убеждению, невозможна была победа, но которая должна была отбросить социал-демократическое движение назад на неопознимо долгое время. Не на одном партийтаге эти различные точки зрения приводили к жестоким стычкам. Живо помню мою последнюю борьбу с Розой Люксембург на партийтаге в Иене в 1913 году. Чем яснее становилось, что „пучисты“ не могут рассчитывать на большинство в партии, тем ожесточеннее и недобросовестнее велась ими борьба. И не вспыхни война, поведшая к расколу партии, распадение ее оказалось бы все-таки неизбежным. Правда, партийная группировка оказалась бы несколько иной, ибо известно, что с началом войны нас покинули несколько человек, до того принадлежавших к самым ненавистным и самым враждебным Розе Люксембург и Цеткиной ревизионистам. Напомню одного—Эдуарда Бернштейна.

Хотя социал-демократия совершенно ясно сознавала, что в век империализма военные опасности должны постоянно возрастать, тем не менее она жила надеждой не только на то, что социал-демо-

кратические партии в великих державах достаточно сильны, чтобы воспрепятствовать войне, но полагала, что исход войны для каждой из великих держав настолько сомнителен, что каждое из государств постарается употребить все усилия к предотвращению войны.

Другими словами: социал-демократия постоянно считалась с возможностью войны, но также и с тем, что вероятность ее избежания превосходит ее возможность. В последние годы эту концепцию укрепили исключительно благоприятное течение и исход франко-германских конференций в Берне (1913) и Базеле (Троица 1914). На Бернской конференции еще присутствовал Бебель. В Базеле я в последний раз виделся и говорил с Жоресом. Бернская конференция, которую в общественном мнении пропагандировал Людвиг Франк, но которая была созвана по почину Фридриха Штампфа, произвела настолько благоприятное впечатление, что в Базель явились уже представители буржуазных политических партий, как французских, так и германских. Из германских представлены были некоторые группы центра и демократы. Из Франции приехали, вместе с другими, известные политические деятели Оганье и Дестурнель Констан. Германское правительство относилось благосклонно к этой конференции, с живым интересом следило за ходом ее работ и с большим удовлетворением указало мне на положительные результаты ее. Немного прошло после Берна недель, и над нами разразилась катастрофа!..

Я совершал в течение двух недель горную прогулку по Тиролю и 24 июля 1914 г. прибыл в Миттенвальд на Изаре, для того, чтобы там, как я это делал уже много лет подряд, наконец, действительно отдохнуть неделю. Тем не менее я не мог

устоять против искушения и 25 июля снова ушел в горы. Поэтому только вечером узнал я об австрийском ультиматуме Сербии. Я остолбенел от негодования. Долго думать было, однако, некогда. Я пошел в писчебумажный магазин и купил об'емистую записную книжку, чтобы отныне вести дневник. Будущее казалось мне безнадежным. Вечером, того же дня, я начал свои записки, и так до Веймара, ночь за ночью, часто после очень тревожных дней, исписал 26 толстых тетрадей. Поскольку мои записки представляют общий интерес, они будут позднее обнародованы без всяких изменений. При составлении настоящей книги, я опираюсь на свои дневники, из которых многое воспроизвожу дословно. Начинаю с воспроизведения заметок, сделанных в последние дни перед войной.

Из моего дневника.

24 июля 14 года. Я считаю ультиматум чудовищным и совершенно ясно вижу, что Австрия хочет войны.

26 июля. День моего рождения. Я вступаю в пятидесятый год жизни. Уже! Жаль. Я читаю свежие газеты. Никакого сомнения: нужно чудо, чтобы все уладилось. Мы отправляемся через границу, в Шарниц, ближайшую железнодорожную станцию, в Тироле. Там, я думаю, можно будет что-нибудь узнать, если Австрия действительно подготавливает мобилизацию. Действительно, на вокзале висят уже об'явления о сокращении железнодорожного сообщения для публики, с 28 июля—„первого дня мобилизации“. Немедленно возвращаюсь на баварскую территорию, чтобы иметь возможность оттуда теле-

графировать „Форвертсу“. В тот же вечер уезжаю через Мюнхен в Берлин.

28 июля. С половины десятого заседание президиума партии, вместе с контрольной комиссией. Эберт еще не вернулся в Берлин. Вечером в Фридрихштадте большая демонстрация против войны и военных крикунов, которые весь день наводняли Унтер-ден-Линден. Наша демонстрация была внушительна, однако, удержать надолго перевес над патриотическими крикунами, большею частью школьниками, ей не удалось. Полиция вела себя довольно сдержанно.

30 июля. „Берлинер-Локаль-Анцейгер“ выпустил экстренный листок следующего содержания: „Мобилизация в Германии. Решение принято в том смысле, в каком его следовало ожидать, судя по известиям последних часов. Как мы узнали, император Вильгельм только что предписал немедленную мобилизацию германской армии и германского флота. Этот шаг Германии есть вынужденный ответ на угрожающие военные приготовления России, которые, соответственно общему положению вещей, направлены против нас не меньше, чем против нашего союзника Австро-Венгрии“. Этот листок был выпущен около полудня. Как только он попал в наши руки, Эберт и Браун отправились по поручению партии в Цюрих. Однако, до их от'езда нам удалось доставить им на вокзал новый листок того же „Берлинер-Локаль-Анцейгера“ следующего содержания: „Грубое озорство вызвало распространение сегодня в полдень листка „Берлинер-Локаль-Анцейгера“ с сообщением о том, что Германия об'явила мобилизацию армии и флота. Мы заявляем, что сообщение это неправильно“. Будут ли когда-нибудь полностью раскрыты все науськивания на войну, скрывающиеся за такими выступлениями?

Позиция социал-демократической партии в отношении войны.

Первое заседание президиума партии. — Канцлер фон-Бетман-Гольвег перед президиумами фракций рейхстага. — Герман Мюллер в Париже. — Нарушение бельгийского нейтралитета и Интернационал.

Первые августовские дни, посвященные политическому осознанию войны, предстанут всего живее, если я изображу их в заметках, сделанных в то время по ночам, и полностью отражающих возбуждение и отдельные впечатления от непрерывного обсуждения событий.

31 июля. Заседание президиума партии. Мы ожидали мобилизации с минуту на минуту. Еще раз обсудили все соответствующие мероприятия на всевозможные случаи, ибо мы считались с очень нелогичным поведением властей, следовательно, и с возможностью арестов.

Гааге докладывает о последнем заседании Международного Бюро в Брюсселе. Вечером повторяются патриотические манифестации. Около полудня заседание президиума партии с президиумом фракции. Ставится вопрос о созыве фракции для занятия определенной позиции, в отношении ожидаемого внесения военных кредитов. Поддерживаемый Леде-

буром, Гааге пытается создать настроение в пользу отклонения кредитов, в случае созыва рейхстага. Во избежание принятия слишком поспешного решения, в том же заседании, я, для оттяжки окончательного решения, отстаиваю созыв фракции в целом; мы не должны спешить. Во всяком случае, я хотел до созыва президиума фракции найти случай поговорить о кредитах с Фишером, Давидом и Молькенбуром. Эберт, которого я мог считать сторонником моей точки зрения, был, к сожалению, за границей. В конце концов мы стоворились на том, чтобы немедленно послать Мюллера в Брюссель, для дальнейшей поездки с Гиусмансом в Париж и подготовки там тождественного с нашим голосования, а, если нужно, то и общей декларации в рейхстаге и во французской палате депутатов. Мюллер немедленно уехал. Около полудня было объявлено так называемое „положение угрожаемости войною“. Вместе с тем, главнокомандующий, генерал фон-Кессель, вступил, так сказать, в управление редакцией „Форвертса“.

1 августа. Получено сообщение об убийстве товарища Жореса — ужасающая новость! Я немедленно составляю сочувственную телеграмму, следующего содержания редакции „Юманите“: „Глубоко потрясенные, узнали мы ужасающую весть, что наш Жорес покинул мир живых. Не могло быть более тяжелой утраты для вас, для нас всех в эту серьезную минуту. Германский пролетариат склоняется перед гением великого борца и от глубины сердца скорбит о том, что именно ныне не может оказаться на месте человек, всю жизнь боровшийся за соглашение Франции с Германией. Его дело не преходяще в истории международного социализма и человеческой культуры“. Телеграмма спешно от-

правляется, но, вероятно, никогда не будет получена. Напряжение Берлина достигло предельной точки; на улицах чудовищное движение. Хотят достоверных сведений. Вечером, в 6 часов они на лицо: мобилизация!

2 августа. Утром, в половине одиннадцатого, в зале заседаний президиума партий совещание с президиумом. Ледебур, как всегда, опаздывает на полчаса. Обсуждается вопрос о кредитах, так как отныне известно, что рейхстаг соберется 4 августа, Гаазе и Ледебур высказываются за отклонение кредитов, все остальные: Давид, Фишер, Молькенбур и я—за принятие. Соглашение невозможно. Что для фракции в 111 человек не может быть и речи о воздержании от голосования, признают все. Больше, чем когда-либо, ощутил я в эти минуты утрату Бебеля, с его неизменным чувством действительности. Гаазе, в качестве партийного лидера, совершал, по моему, катастрофические ошибки. Давид говорил отлично: Молькенбур, как всегда, трезво, но с разящими доводами. Умный Фишер был так взволнован, что во время речи с ним сделался нервный шок, и он начал плакать. Убедить Гаазе и Ледебура было невозможно, но казалось, они рады тому, что остались в меньшинстве. Мы условились вечером встретиться еще раз в „Форвертсе“ и там обсудить оба проекта предполагаемой декларации о принятии кредитов и об их отклонении. Независимо от того, за кем окажется большинство во фракции, мы хотели во всяком случае повлиять на редакцию предполагаемой декларации. После обеда около 5 часов Давид, Фишер, Молькенбур, Шепфлин, Вельс, Зюдекум и я сошлись в саду Гера, в Целендорфе и после нескольких часов обсуждения, выработали текст декларации. Вечером, в 9 ча-

сов, в „Форвертсе“ новая борьба с Гаазе и Ледебуром. Ни у кого из них текста декларации не было. У каждого было по незаконченному наброску. Мы разошлись только около полуночи. Удастся ли склонить большинство фракции к голосованию за кредиты или нет? В течение дня у меня на квартире было получено приглашение имперского канцлера фон-Бетман-Гольвега на заседание 3 августа, в 12 часов утра, в канцлерском дворце.

3 августа. Рано утром, в 10 часов заседание фракции. Гаазе докладывает о предшествующем обсуждении вопроса о кредитах. Фракция постановляет отложить заседание до возвращения моего и Гаазе от канцлера. Пробыв 5 минут в зале заседаний фракции, я успокоился. Некоторые из самых радикальных наших товарищей заявили мне, что принятие кредитов для них бесспорно. Среди них был Гох.

Имперский канцлер фон-Бетман-Гольвег перед президиумами фракций рейхстага.

Вильгельмштрассе, 77, исторический зал в первом этаже, выходящий окнами в сад; присутствуют: министр Дельбрюк, помощник государственного секретаря Ваншаффе, начальник государственной канцелярии, депутаты фон-Вестарп, Шпан, Эрцбергер, Бланкенгорн, принц Шенайх-Каролат, Кемпф, Вимер, Фишбек, Шульц-Бромберг, фон-Моравский, Шееле, Гаазе и я. Мы беседуем непринужденно, не сядя, о законопроектах, которые должны быть приняты в связи с законом о кредитах. Около половины одиннадцатого пришел канцлер. Он выглядел очень измученным. Он пожал всем руку. У меня было такое чувство, словно мою руку он жал намеренно

долго. Когда он потом сказал: „Доброе утро, господин Шейдеман“, мне показалось, что он хотел дать мне понять: „Ну, теперь, я надеюсь, наша обычная грызня будет на время отложена“. „Это будет зависеть от него“, подумал я. Юмор не утрачивает своих прав даже в такие серьезные минуты. Шееле принес Бетман-Гольвегу извинения за то, что явился в сером сюртуке. Канцлер сказал: „Пожалуйста“, и обратился к кому-то другому. Затем он занял место на конце стола. Направо от него сели по порядку: Дельбрюк, Шпан, я, Гаазе и т. д., по левую сторону Бетмана сидел старый Кемпф. Канцлер произнес перед нами речь, которую он на следующий день сказал в рейхстаге. От времени до времени он делал замечания более или менее конфиденциального характера, опущенные им затем в рейхстаге. Чем ближе канцлер подходил к концу, тем оживленнее становились его движения, от волнения он не знал, куда ему девать свои длинные руки. Иногда он стучал обеими руками по столу. Зато голос его стал беззвучным, когда он говорил: „Моя совесть чиста“. Мне было его искренно жаль. Я чувствовал, как тяжело ему было посоветовать императору об'явить мобилизацию. Я сравнивал в эти минуты Бетман-Гольвега с его предшественником Бюловым и сказал себе: „Это счастье в нашем несчастье, что не Бюлов теперь канцлер“. Я внимательно следил за сменой событий в последние годы и пришел к убеждению, что к Бетман-Гольвегу были очень несправедливы, и что в неправильной его оценке виновато заблуждение, в которое не раз вводила болтовня Бюлова.

Кемпф поблагодарил канцлера за сообщение и Бетман-Гольвег попросил разрешения тотчас же удалиться, так как ему предстояло очень много работы.

Ничего удивительного! Когда Бетман поклонился нам на прощанье, я увидел, что его низкий стоячий воротник совершенно размок от пота; возможно, что несчастный уже несколько дней не раздевался.

Один из депутатов спросил Дельбрюка о позиции Италии. Бетман-Гольвег ничего об этом не сказал. Хитрый, как лиса, Дельбрюк отговорился полным незнанием. Неудовлетворенное собрание перешло от Италии к порядку дня и стало обсуждать наиболее целесообразный порядок рассмотрения законопроектов в пленуме рейхстага. Так как участники собрания держали себя так, как будто в единогласном принятии всех предложений, а значит и закона о кредитах, невозможно сомневаться, то Гаазе и я обратили внимание собрания на то, что наша фракция еще не приняла окончательного решения. На это Эрцбергер заметил насмешливо: „Ну, настолько они будут умны, чтобы на этот раз голосовать за принятие“. Все улыбнулись. Всем тоном своего участия в этой беседе Гаазе не мог вызвать ни в ком мысли, что он лично не стоит за принятие кредитов. Это возмутило меня, потому что до последней минуты перед приходом в канцлерский дворец он употреблял все усилия для того, чтобы добиться отрицательной резолюции фракции. Я сказал ему об этом по дороге из дворца в ресторан Цоллернгоф, где мы вместе обедали. Он ответил: „Я все время указывал на то, что фракция еще не приняла решения“. Совершенно независимо от его принципиальной позиции, поведение Гаазе было мне глубоко несимпатично.

Итак, в канцлерском дворце было постановлено: после канцлерской речи Кемпф скажет краткое слово, в котором заявит, что рейхстаг единогласно принимает предложенные кредиты, и что за них голосуют

даже те, кто являются принципиальными противниками войны. Гаазе проглотил это. Между тем я заметил, что о форме декларации, которая для нас („в зависимости от того, как сложится решение фракции“) полна важного значения, мы сговоримся с Кемпфом. Все, в том числе и Кемпф, согласились на это. После Кемпфа в рейхстаге не должен был, по мысли собрания, брать слова никто. Против этого я и Гаазе выступили очень решительно. Как бы ни сложилось решение фракции, мы должны были во всяком случае кратко мотивировать свое голосование. Новое разногласие. Я указал на особое положение нашей партии, которое должны были учитывать и остальные члены собрания. В конце концов достигли соглашения на следующих основах: редакция нашей декларации должна быть сообщена лидерам остальных партий, для того, чтобы они могли выработать эвентуальные возражения. На это Гаазе дал торжественное обещание, что к возражениям повода не будет. Ни при каких обстоятельствах наша декларация не заденет какой-либо другой партии, она лишь в общих выражениях отклонит, вероятно, ответственность за политику, которая, по нашему мнению, вела и привела к войне. Форма декларации будет достойная, соответственно моменту. Общее согласие. Оставался еще один подводный камень: „ура императору“. Что вы сделаете? — спрашивали нас. Я сейчас же взял слово, чтобы предупредить Гаазе. Я просил не создавать нам новых трудностей. Заседание откроется в белом зале дворца, там и раздастся „ура императору“, как при открытии, так и при закрытии этой части заседания. Заседание же в рейхстаге будет только продолжением предыдущего. Там в третьем „ура“ необходимости нет. Оживленные возражения. Если же, —

продолжал я, — без третьего „ура“ невозможно, то пусть это будет „ура народу и родине“. Начался новый продолжительный обмен мнений, в котором принял участие, не внося, однако, никакого положительного предложения, и Гаазе. Много говорили о традициях, о том, что не возможно как раз теперь и т. д. Между тем я шепнул на ухо сидевшему рядом со мной депутату Шпану так громко, что Дельбрюк должен был услышать: „в крайнем случае я считаю приемлемым ура императору, народу и родине“. Дельбрюк сейчас же подхватил эти слова, а Гаазе несколько позднее (во фракции) был счастлив, что „правительство само сделало такую большую уступку социал-демократии“.

Заседание фракции было очень бурно. Я председательствовал. Во время заседания на сцене появился Герман Мюллер. Он только что приехал из Парижа. Я немедленно предоставил ему слово для доклада о пережитом там. Сознаю, я был очень озабочен. Смотря по докладу, должно было сложиться решение фракции. По плечу ли Мюллеру задача? Не зная предшествовавших прений, он ярко изобразил пережитое им. Воспроизвожу им самим записанный доклад.

В Париже во время мобилизации.

„Вечером 1-го августа, вскоре после того, как я приехал в Париж, состоялись, в 7^{1/2} и 10^{1/2} часов, два заседания с некоторыми товарищами из президиума французской партии и социалистической группы палаты депутатов. Это было на следующий день после убийства Жореса, о котором я узнал в то же утро по приезде в Брюссель. Французские товарищи были еще совершенно подавлены трагиче-

ской кончиной великого французского социалиста, который, до последнего часа, старался предотвратить грозящее всей Европе несчастье. Прием, оказанный мне французскими товарищами, был так же сердечен, как и во все мои предыдущие посещения Франции. До самого отъезда они были полны дружественной заботы обо мне, в роковые для всех часы. В заседаниях председательствовал Марсель Самба. После приветствия я сообщил, что цель моего приезда в Париж — поручение президиума германской партии сделать сообщение о политическом положении, которое так чудовищно обострилось в последние два дня. 29-го июня Международное Бюро в своем заседании в Брюсселе постановило перенести в Париж и назначить на 9-ое августа международный социалистический конгресс, предполагавшийся в конце августа в Вене. Ввиду натянутого международного положения президиум партии считает невозможным созыв конгресса 9-го августа в Париже. По крайней мере германским партийным товарищам участие в этом конгрессе в большом числе представляется, на первый взгляд, невозможным.

Переговорив с товарищем Гюисмансом, Исполнительный Комитет Международного Бюро разослал сегодня утром циркуляр, которым конгресс, назначенный на 9-ое августа, откладывается на неопределенное время. Президиум германской партии считает международное положение исключительно критическим, несмотря на то, что надежда на разрешение кризиса не должна считаться совершенно исключенной. Германское правительство, особенно Бетман-Гольвег и император, стремятся к сохранению мира. Решение зависит от Петербурга. Если бы против нашей воли дело дошло до войны, то для социалистических парламентских фракций в бли-

жайшие дни стал бы актуальным вопрос о голосовании по поводу военных кредитов. Сообщаю официально, что германский рейхстаг будет созван в следующий вторник. Фракция соберется вероятно днем раньше, поэтому очень желателен обмен мнений по вопросу об отношении к военным кредитам: хотя по государственно-правовым причинам невозможно взаимное обязательство, и как фракция германского рейхстага, так и фракция французской палаты депутатов должны решать совершенно самостоятельно, однако германские товарищи очень ценили бы единение с французскими товарищами в этом вопросе. Заседания фракции по этому вопросу не было, поэтому я и не могу дать каких-либо объяснений по полномочию фракции. Но и независимо от этого, обмен мнений очень желателен, потому что однородная позиция германской и французской фракций должна произвести то же сильное впечатление, какое однородная позиция обеих фракций производила и прежде, — например в недавнем общем германо-французском манифесте против вооружений. Что до взглядов германских социал-демократов, то они в вопросе о военных кредитах не одинаковы. В 1870 году, в начале войны, часть социалистов воздержалась от голосования, часть голосовала в рейхстаге за кредиты. На этот раз такого разделения, однако, не будет, вся фракция будет голосовать одинаково. Перед моим отъездом состоялось заседание членов президиума партии и членов президиума фракции, на котором мнения разделились, и определенного решения принято не было. Насколько я лично знаю настроение партийных кругов, сильное течение направлено против принятия кредитов. Наконец, неофициально в партийных кругах обсуждался и вопрос о воздержании от голосования.

Самба поблагодарил от имени партии за эти сообщения и заметил, что французская партия также считает обмен мнений очень ценным. Благодарности заслуживает то, что при существующих трудных условиях, я приехал в Париж, чтобы обсудить положение с французскими товарищами. Жорес до последних часов жизни употреблял все свое влияние на французское правительство для сохранения мира, а французское правительство влияет в том же направлении на Россию. Что касается вопроса о кредитах, то парламентская фракция не собиралась еще и во Франции. Если суждено вспыхнуть войне, то и французская фракция будет, но лишь на будущей неделе, самостоятельно решать вопрос о кредитах. О сегодняшнем обмене мнений будет доложено фракции по её созыве. Затем Самба коснулся вопроса о том, нельзя ли сделать в германском рейхстаге и во французской палате декларации одинакового содержания. Манифест 1-го марта 1913 года оказал хорошие услуги.

Я ответил, что при существующем положении вещей я не считаю возможным найти формулу для однородной декларации, которая должна быть сформирована с тем, что фракциям обеих стран придется сказать в нынешних, в деталях еще совсем не поддающихся учету, условиях. Кроме того, на мой взгляд, технически невозможно в какие-нибудь два дня сговориться на общей редакции. Телеграфное сообщение между Францией и Германией видимо уже прекращено, и вообще не известно, удастся ли мне до будущего понедельника вернуться в Берлин после того, как во Франции уже будет объявлена общая мобилизация.

Ренодель был совершенно согласен со мной во взгляде на общую декларацию. Он думал далее, что

положение французской и германской социал-демократии совсем одинаково. Французское правительство держит социалистов вполне в курсе международных событий, в Германии же это не так. Если Германия нападет на Францию, народ и правительство которой хотят мира, французские товарищи должны будут голосовать за военный бюджет, потому что за Францией должны быть сохранены средства обороны. В таком положении французские товарищи не смогут воздержаться от голосования. Германские же товарищи в случае нападения Германии окажутся совсем в другом положении. Поэтому эвентуально они могут голосовать против военных кредитов. Я возразил, что вопрос о том, является ли война наступательной или оборонительной, не всегда поддается ясному разрешению в самом начале войны. Одного факта объявления войны недостаточно для того, чтобы война представлялась наступательной. Если разыгралась большая европейская война, то основные корни ее в капиталистически-империалистической экспансионной политике и в соперничестве государств в вооружении, которое ведется всеми государствами одинаково уже в течение десятилетий. Кроме того, надо принять во внимание, что эта война несомненно перебросится автоматически на другие страны, потому что европейские великие державы стоят одни перед другими сгруппированные в две союзных группы.

За этими указаниями последовали более продолжительные прения, главным образом, о причинах, которые могли бы побудить часть германской социал-демократии не голосовать против кредитов, а затем обсуждался вопрос о том, можно ли рассчитывать на однородную позицию фракций в смысле воздержания от голосования. Доводы, которые могли быть при-

ведены с германской стороны в пользу голосования за кредиты, отошли в этих дебатах на задний план, потому что они лежали на одной линии с доводами, которые французские товарищи приводили в пользу своего голосования за кредиты. Среди французских товарищей, как казалось, не было вовсе течения в пользу голосования против военных кредитов. Наши французские товарищи смотрели на Францию, в случае вовлечения ее в войну, как на объект нападения со стороны германского милитаризма и считали, что Франция окажется поэтому в положении, отличном от Германии. По их мнению, партия должна будет голосовать за кредиты, потому что, в случае нападения со стороны германского империализма, подверглись бы опасности французские либеральные традиции и французской республике пришлось бы вести борьбу за свое существование. Правая часть марксистского крыла французской партии была вполне солидарна с левой. Вопрос рассматривался под углом жестокого нападения со стороны германского империализма, и в этом положении партия признавалась обязанной предоставить французскому отечеству средства защиты.

Когда в течение прений один из товарищей заявил особенно резко и возбужденно, что в случае возникновения войны большинство французского народа будет считать виноватой Германию, я также решительно выступил против этого товарища с защитой следующей точки зрения, в качестве германской точки зрения.

Германские социалисты привыкли говорить правду своему правительству в самой резкой форме. Это хорошо знает Интернационал. Совсем недавно мы делали публично нашему правительству жесточайшие упреки в том, что перед пред'явлением австрийского

ультиматума Сербии, оно недостаточно подумало о значении ультиматума для Германии. Но теперь положение сложилось бесповоротно, и дело обстоит так, что величайшая опасность грозит из Петербурга. Если панславистской партии удастся провести мобилизацию, война неизбежна. Мы твердо убеждены, что Вильгельм II и Бетман-Гольвег искренне работают в пользу сохранения мира. Последние недели, когда уже был известен австрийский ультиматум Сербии и приходилось считаться с возможностью войны, я посетил Среднюю и Южную Германию. Нигде не слышал я ни одного дурного слова, направленного против Франции. Но сплошь и рядом в широчайших партийных кругах в Германии держатся того взгляда, что в случае возникновения мировой войны вина за нее падает на Россию, и что Франция в состоянии устранить мировую войну, оказав в Петербурге достаточное давление для сохранения мира.

В течение дебатов, характеризуя различные тенденции и направления, представленные, по моему мнению, в германской партии, я должен был сильно подчеркнуть доводы, говорящие против голосования за временные кредиты, потому что, не находя никакого отзвука во французской партии, они должны были тем не менее учитываться при стремлении создать единую позицию в обеих странах. Особое усилие я должен был направить на то, чтобы установить, есть ли хоть какая-нибудь вероятность склонения французской фракции к воздержанию от голосования. Так как речь шла о тенденциях и течениях, я высказывал только свое личное мнение и подчеркивал, что сам я не принадлежу к фракции и при оценке силы отдельных настроений в ней принужден руководствоваться общими моим сведениями о

позиции фракционных товарищей в тактических вопросах. В течение всей этой беседы по вопросу о воздержании от голосования, у меня было такое впечатление, что отдельным товарищам кажется сомнительной самая допустимость прений по этому вопросу. Поэтому, в конечном итоге, встал вопрос том, не будет ли в конце концов германская партия голосовать за кредиты. В этой связи я заявил, в качестве своего личного мнения, что при возможности воздержания от голосования в обоих парламентах я считаю исключенным для германской партии голосование за военные кредиты.

Гюисманс был того мнения, что Германия потому должна учитывать возможность воздержания от голосования, что положение ее различно относительно Франции и России и что германская фракция должна принимать в соображение особое отношение к России.

Самба резюмировал обмен мнений в том смысле, что, ввиду различных течений в германской партии французская парламентская фракция также предложит на обсуждение воздержание от голосования, чтобы таким образом прийти, может быть, к единой позиции французской и германской фракций. При этом он, однако, подчеркнул, что соответствующее обязательство представляется невозможным, так как за фракцией должна быть сохранена свобода решения. Я поспешил объяснить, что и у меня нет полномочия обязывать германскую фракцию, которая установит свою позицию на будущей неделе.

По общему положению вещей, я считал возможным сделать такое заявление, так как я тогда очень считался с возможным решением фракции в пользу воздержания от голосования. Я переоценивал в то время силы противников принятия креди-

тов и, кроме того, вовсе не допускал, что фракция не поставит на свое решение вопроса о воздержании от голосования.

Все изложенное было в значительной части сказано дважды, так как в Париже было два заседания: одно в палате депутатов, другое в редакции „Юманитэ“. Второе заседание было созвано потому, что желали привлечь ряд товарищей, которые не могли участвовать в первом; так, на втором заседании были Тома и Компер-Морель, тогда как Гед и Вайян не могли прийти ни на одно. Общее течение прений не оставляло никакого сомнения в том, что французская фракция будет голосовать за кредиты. Я тогда же доложил фракции рейхстага об этом своем определенном впечатлении. Переговоры решено было не предавать гласности и в ту же ночь я покинул Париж. По предложению Лонге, наши французские товарищи хотели снабдить меня французским паспортом, который обеспечил бы мне возвращение в Германию. Я отказался, однако, от того, чтобы соответствующие хлопоты были приняты перед Вивиани.

Настоящий доклад написан 8-го марта 1915 года после того, как Ренодель высказался о моем посещении Парижа в „Юманитэ“ от 26-го февраля 1915 г. Доклад написан по памяти, потому что, ввиду неустойчивости положения, делать заметки в пути было невозможно. Я, вероятно, не выбрался бы из Франции, если бы при задержании меня в Мобеже, не сказал, что приехал в Париж на похороны Жореса, но по совету моих французских друзей, ввиду политических событий, уехал, не дождавшись погребения“.

После доклада Мюллера прения продолжались. Я записал о них в своем дневнике следующее:

От имени президиума говорили: Давид за принятие кредитов, Гаазе против. Затем в следующем порядке: Молькенбур—за, Ледебур—против, Фишер—за, Ленп—против, Каутский—за (с оговорками), Либкнехт—против, Коген—за, Герценфельд—против. Затем прения были закрыты. В списке ораторов значились еще: Штребель из „Форвертса“ против, все остальные—Штальман, Шейдеман, Ландсберг, Бернштейн, Блосс, Зильбершмидт, Цубейл, Штадтгаген, Гох, Дитман, Давидсон, Фроме, Гере, Шенфлин. Вельс—за. При голосовании 14 голосов было подано за отклонение кредитов, остальные за принятие. Всего присутствовало 92 товарища. Затем была избрана комиссия в составе: Каутского, Давида, Гоха, Вельса и Франка, которая к следующему утру должна была составить соответствующую декларацию. Основой должна была служить наша (Давида) редакция и внесенные различными лицами (Каутским, Штадтгагеном и другими) поправки. Затем фракция приняла „ура императору, родине и народу“. Многократно требовали, чтобы мы не кричали „ура“, а только молча встали. Прений по этому поводу, однако, не было. На следующее утро мне пришлось ободрять принца Шенайх-Каралота, который потребовал от меня, как было условлено, текст нашей декларации. То же пришлось сделать в отношении Эрцбергера, фон-Вестарпа и Кемифа. С последним я обсудил текст речи, которую он должен был произнести после канцлера. Я заявил, что согласен с его проектом, и Кемиф потом говорил в рейхстаге, как обещал.

Нарушение бельгийского нейтралитета и Интернационал.

Декларация, выработанная фракцией и произнесенная Гаазе в рейхстаге 4-го августа 1914 года, воспроизводилась так часто, что мне незачем ее повторять. Хочу установить только, что после речи канцлера 4-го августа сделан был перерыв для заседания фракций. Во фракции Ледебур шумел по поводу того, что некоторые депутаты во время речи Бетман-Гольвега кричали будто бы „браво“. О Бельгии не говорили ни Ледебур, ни Либкнехт, вообще никто, хотя канцлер сообщил о вторжении в Бельгию. Мелкая придирчивость некоторых членов фракции была виною тому, что самый большой и самый важный вопрос оказался совершенно забытым и о нем даже не упоминали. На социал-демократические партии нейтральных государств сообщение о вторжении в Бельгию и особенно о разрушениях в Лувене произвело ужасающее впечатление. Мы тотчас же поняли, что этот оборот настроения мог быть крайне опасным для Германии. Так как не только в скандинавских странах, но также и даже особенно в Италии и Голландии с.-д. печать заняла очень недружелюбную по отношению к нам позицию, то Вильгельм Янсон был послан в Стокгольм, доктор Зюдекум в Италию, а я в Голландию.

Мы должны были повлиять на нашу партийную печать, для того, чтобы она более строго соблюдала нейтралитет. Янсон немного мог сделать в Стокгольме, потому что Брантинг с самого начала войны был настроен в пользу Антанты. Зюдекум, долго не дававший о себе знать, был телеграммой отозван обратно. Итальянские социалисты очень недружелюбно встретили его миссию, и в Италии ничего

не удалось добиться. Мне в Голландии повезло больше. Правда, и голландские товарищи мало одобряли вторжение в Бельгию, скорее они считали его тяжким преступлением. Тем не менее, они не только обещали, но, обещав, и соблюдали в своей партийной газете „Het Volk“ нейтралитет.

Трудностей только что указанного порядка у с.-д. партии во время войны было множество. Говорить о них всех значило бы чрезвычайно увеличить об'ем этой книги.

Однако, при описании важнейших событий, они всплывают неизбежно. Они доминировали во всех работах Стокгольмской конференции, как и ныне еще играют роль в отношении отдельных социалистических партий к германской социал-демократии. Как много, однако, встретили мы наряду с этим понимания нас и нашего тяжелого положения, это будет видно из изложения многочисленных переговоров с друзьями по партии в нейтральных государствах.

„За мир на основах соглашения“.

«Шейдемановский» мир.— Голод.—Картофель господинна фон-Гампа.—Новые дискуссии о принятии кредитов.—«Великая Германия».—«Я не думаю об осуществлении военных целей пангерманистов».— Последние выступления единой с.-п. партии.— Тесное единение с австрийскими партийными товарищами.—Интерпелляция о мире в декабре 16 года.—«Слово за монархию».—Борьба за демократизацию.—«Время действовать».—«Канцлер Шейдеман».

„Шейдемановский мир“.

Само собой разумеется, что в течение первых недель и месяцев войны мы обязали себя к известной сдержанности. Никто ведь не знал, не окончится ли война очень скоро и не станет ли таким образом военная политика излишней. Я лично, впрочем, был уверен уже к концу 1914 года, что все надежды на близкое окончание войны призрачны. Поэтому я предпринял, первоначально на личную свою ответственность, лекционное турне по большим городам с программой: „За мир на началах соглашения“. Так возникло уже в первые месяцы войны летучее слово—„шейдемановский мир“, мир, который стоявшие направо от нас, отвергали самым решительным образом и поносили, как недостойный и позорный мир. „Где пролилась хотя капля германской крови, оттуда мы не уйдем“—говорил Бас-

серман. О том, чего требовали господа Штреземаны и еще более правые политики, я не хочу здесь говорить.

Однако, чем более громко заявляли о себе и чем более возрастали притязания германских империалистов, тем более возрастало и недовольство трудящегося населения. Недовольство военной политикой, совершенно забывшей слова императора: „мы не ведем завоевательной войны“, охватывало даже широкие круги мелкой буржуазии и крестьянства. Кроме того, для крестьян и мелкой буржуазии причиной глубокого недовольства были недостаток в предметах первой необходимости и питания, и, этого можно и не подчеркивать,—скорбь перед ужасными человеческими утратами, не пощадившими ни одной семьи. Во всей стране свирепствовал голод. Я вынужден был терпеть со своей семьей подлинную нужду, так как твердо держался правила не получать никакого продовольствия без карточек. Следом трехлетней голодовки, является запись в моем дневнике от февраля 1917 года: „Вчера вечером я был в гостях в зажиточной семье. И в первый раз, после долгого времени, наелся досыта“.

Картофель господина фон-Гампа.

В этой связи приобретает особую пикантность небольшая история, разыгравшаяся у меня с свободно-консервативным депутатом фон-Гампом, особенно потому, что Гамп, в качестве типичного представителя аграриев, был со мной в постоянной вражде.

В заседании одной из комиссий я говорил о нужде народа и о голоде. После моей речи ко мне подошел фон-Гамп и сказал, что весь под впечатлением моей речи. Так мог говорить, по его мнению,

только тот, кто знает, что такое голод. Я ответил ему, что он не ошибается, и что я сейчас как раз действительно не знаю, где добыть продовольствие для моей семьи, в том числе и для внуков, отцы которых на войне. Так как я в своей речи особенно много говорил о картофеле, то Гамп спросил меня: „Есть ли у меня хотя бы картофель“. „Ни одного фунта“, ответил я и вернулся на свое место. Когда я вечером пришел домой, жена сообщила мне, что к нам приезжал в изящной коляске ливрейный лакей и оставил полмешка картофеля. К сожалению, мне очень скоро пришлось снова резко обрушиться на господина фон-Гампа. Тем охотнее рассказываю я эту „маленькую картофельную историю“, которая, несомненно, служит к чести господина фон-Гампа.

Новые дискуссии о принятии кредитов.

Понятно, что при таких условиях, как в рабочей среде, так и среди парламентских представителей постоянно возвращались к вопросу о военных кредитах. Позже они и должны были привести к расколу с.-д. фракции. Споры о кредитах питались не только принципиальными разногласиями, но и сознанием, что именно военные кредиты являлись средством затягивать положение, из которого возникали все лишения. Поэтому в с.-д. фракции часто велись дебаты о том, обязана ли партия поддерживать оборону страны. Простых ссылок на слова Жореса или Бебеля было недостаточно. Вопрос о том, ведем ли мы оборонительную войну или наступательную, вставал каждый раз с решающим значением и явился, главным поводом к голосованию по вопросу об обороне страны, которое фракция

произвела 8-го марта 1915 года, т. е. через 9 месяцев после начала войны.

Гааге, позднее ставший вождем независимых, ошеломил в этот день фракцию наброском речи, которую он полагал произнести в пленуме. Об этом проекте речи я записал тогда в своем дневнике следующее: „Собралась фракция. Борьба вокруг речи о бюджете, это значит борьба со стороны Гааге. Он и я были в декабре избраны ораторами по бюджетному вопросу, но в нынешнем положении я против ораторствования. Хотя я прямо заявил об этом во фракции, однако, Гааге боится, что в конце концов меня склонят к выступлению. Речь Гааге была, конечно, вся яд и желчь. В ней не было ни слова об опасности стране, ни слова об обязанности защищать отечество. Фракция была изумлена речью, и Гааге сделал очень много уступок. Однако, в конце концов пришлось голосованием принудить его к включению в речь указания на обязанность защищать отечество и это знаменательно-соответствующее требование исходило от нашего радикального товарища Гоха. Оно было принято всеми голосами против Герцфельда, Генке и Либнехта. На Гааге возлагается обязанность к следующему утру представить измененный проект речи.

«Великая Германия».

Прежде, чем речь была произнесена, канцлер созвал у себя совещание главнейших партийных лидеров. От социал-демократической фракции присутствовали: Молькенбург, Роберт Шмидт, Гааге и я. Канцлер прежде всего рассказал о переговорах между Италией и Австрией, которые тогда велись при оживленном маклерском содействии князя Булова.

Потом он говорил о целях войны: „Мы хотим гарантий, большей свободы движения и большей возможности развития для более сильной Великой Германии“. Ледяной холод пробежал по моей спине. Когда во второй раз раздалось слова о „Великой Германии“ мы все четверо переглянулись: Молькенбург, Роберт Шмидт и я—очень подавленные, Гааге явно приятно взволнованный. Наконец, оно было у него в руках, словечко о завоевательной войне, для которой у нас не оставалось возможности принимать кредиты! В обсуждении вопроса о формальной стороне рассмотрения бюджета канцлер участия не принимал. Руководство собранием перешло к Дельбрюку. Все депутаты договаривали нас отказаться от речи, так как в противном случае придется говорить и другим партиям. Совсем, как в декабре 1914 года, мы представили Гааге защищать „необходимость выступления перед началом работ бюджетной комиссии“. Что при втором чтении будут речи, с этим были согласны все. Наконец, окончилось и это заседание.

По дороге домой я стал объяснять Гааге, что, после всех своих прежних заявлений, Бетман-Гольвег не мог говорить о Великой Германии в смысле территориальном. Это казалось мне совершенно исключенным. Когда говорят о великих людях, то тоже имеют в виду не сантиметры их роста и т. д. Победы Германия в настоящей войне, она действительно, будет сильнее и больше прежнего, пусть территория ее не возрастет ни на один квадратный метр. Конечно, Гааге живо возражал, а потом оборвал неприятный ему разговор.

«Я не думаю об осуществлении целей пангерманистов».

Недостатком конференции, созванной канцлером, было большое число участников. Канцлер желал, однако, как всегда перед решительными речами, совершенно откровенно переговорить с с.-д. партией. Об этом свидетельствует запись в моем дневнике от 9-го марта. В 8 часов утра пришел посланный с приглашением меня на 10 часов к канцлеру. Я почувствовал: „он хочет еще раз насесть на нас, чтобы добиться отказа от речи в пленуме“. Я тотчас же решаю выбить из рук Гаазе оружие, которое Бетман-Гольвег дал ему вчера вечером неосторожным оборотом речи. Я замечаю Ваншаффе, что канцлер должен в предстоящих переговорах с нами вернуться к вопросу о целях войны, но вернуться так, чтобы никоим образом нельзя было сделать вывода о завоевательных намерениях, подобно тому, как это было вчера—намерениях, которых я убежден, у Бетман-Гольвега вовсе и нет.

Ваншаффе понял меня тотчас, как только я обратил его внимание на наши основные положения. Канцлер принял нас приветливо и предложил нам сигары. Я стал курить, а канцлер уговаривал Гаазе „строго конфиденциально, никто другой об этом не знает“: „В России распускаются нежные ростки, которые могут дать мир. Мы растопчем их, заговорив о мире. Это будет понято, как слабость и, таким образом, в России еще раз возрастет военное настроение. Цели, которых добиваются пангерманисты, бессмысленны. Я не думаю об их осуществлении. Аннексия Бельгии, с совершенно чуждым нам даже по языку населением? Я допускаю установление с Бельгией более тесных хозяйственных

отношений, может быть, соглашение военного характера, но и только. Еслиб мне удалось несколько исправить границу в Вогезах, это имело бы большое значение, так же, как еслиб удалось провести срытие Бельфора. На этих границах мы были вынуждены принести ужасные жертвы“. Гаазе и я—прежде Гаазе—заявили с удовлетворением, что объяснения канцлера нас успокаивают, и во всяком случае рассеивают не одно опасение. Потом Бетман-Гольвег говорил о готовности заключить сепаратный мир с Россией или Францией, как только это будет возможно. Главное—расколоть Антанту. И опять то же самое: не говорить о мире. Витте недавно сделал слабую попытку. Пресса отозвалась, Витте был тотчас же смещен.

Бетман-Гольвег указал на наших товарищей в Англии и Франции. Если бы вы могли с ними говорить, это было бы гораздо более ценно, чем говорить в рейхстаге о мире. Но ваши интернациональные друзья, кажется, не слишком миролюбиво настроены. После многократных отеческих увещаний канцлер, наконец, отпустил нас. Я вынес впечатление, что выступление Гаазе в рейхстаге, после всех этих переговоров, канцлер примет не слишком трагически. Что Бетман-Гольвег произвел на Гаазе большое впечатление, было очевидно.

Последнее выступление единой социал-демократической партии.

Речь Гаазе соответствовала переговорам с канцлером. 18 марта, т. е. неделю спустя после речи Гаазе, я должен был изложить точку зрения моей партии на вопрос о внутренней политике. Как особенно знаменательное, я должен подчеркнуть то

обстоятельство, что со стороны независимых, т. е. людей, посвященных в дело, меня несколько лет подряд упрекали в том, что я в своей речи ни словом не коснулся мира на основах соглашения, несмотря на то, что в полном согласии с будущими независимыми, принадлежавшими тогда к фракции, я, в начале своей речи указал, что не буду касаться внешней политики, так как мой товарищ по партии Гаазе 10 марта изложил все к ней относящееся. Внутри партии борьба против завоевательной войны и за мир на основах соглашения продолжала, однако, оставаться в порядке дня.

14, 15 и 16 августа комитет партии и фракция рейхстага заседали вместе и опубликовали следующее циркулярное обращение к партийным организациям, к которому примкнула и группа Гаазе:

„В соображении национальных интересов и прав своего народа и принимая во внимание жизненные интересы всех народов, вообще, германская социал-демократия стремится к миру, представляющему гарантию прочности и приводящему европейские государства на путь более тесного правового, хозяйственного и культурного общения.

Согласно с этим мы устанавливаем следующие руководящие пункты для выработки мирного соглашения:

1) Обеспечение политической независимости и неприкосновенности германского государства требует отклонения всех завоевательных заданий противников, направленных против германской территории. Это распространяется и на требование воссоединения Эльзаса и Лотарингии с Францией, в какой бы форме к нему ни стремились.

2) Для обеспечения свободы развития германского народа, мы требуем: свободных дверей, т. е. равно-

правия в хозяйственной деятельности во всех колониальных владениях, включения постановления о наибольшем благоприятствовании в мирные договоры со всеми воюющими государствами, поощрения хозяйственного сближения, путем возможного устранения таможенных и иных стеснений оборота, улучшения и введения в различных государствах однородных социально-политических учреждений, в духе целей, которые ставит себе рабочий интернационал. Свобода морей должна быть установлена международным договором. Для этой цели должно быть упразднено призовое право, а также проведена интернационализация важных для мировой торговли проливов.

3) В интересах гарантии Германии свободы ее хозяйственной деятельности на юго-западе мы отклоняем все военные цели четверного согласия, направленные на ослабление и разгром Австрии и Турции.

4) Учитывая, что аннексии местностей с чуждым населением противоречат праву самоопределения народов и что, сверх того, они только ослабили бы Германию и тягчайшим образом повредили бы ее внешним политическим отношениям на долгое время, мы боремся со всеми направленными на аннексию планами близоруких „завоевательных“ политиков. Интересы Германии, не меньше, чем справедливость, требуют восстановления Бельгии.

5) Ужасающие страдания и разрушения, которые нынешняя война принесла человечеству, склонили в пользу идеала всеобщего мира, обеспеченного международными правовыми установлениями, миллионы человеческих сердец. Достижение этой цели должно стать высшим нравственным требованием для всех, кто призван работать в пользу ме-

ждународного мира. Поэтому мы требуем создания постоянного международного третейского суда, на разрешение которого должны передаваться все будущие конфликты между народами“.

Таким образом наша позиция была выяснена со всех сторон. Как бы то ни было, правительству, которое со страхом ожидало результатов, мы доставили не большую радость. Когда Ваншаффе позвал меня в 5-й раз, я показал ему циркуляр. Он сказал: „Так оно, пожалуй, приемлемо“. „Однако,—прибавил он,—я очень сожалею о включении фразы о восстановлении Бельгии“. Он, Ваншаффе, правда, знает, что канцлер вполне с этим согласен, но при распространении циркуляра в армии, эта фраза вызовет затруднения со стороны военных. Просто опустить ее нельзя, потому что, если отдельные части циркуляра будут выцупены, то полный текст—так сказал майор Дейтельмозер, вполне компетентный в делах цензуры—появится в „Бернер-Тагвахт“. Особенно нежелательным кажется представителям правительства прямое указание „против аннексии Бельгии“. Я ответил, что ни один человек за границей не ждет от германских с.-д. чего-либо отличного от того, что сказано здесь, в главных положениях. Несмотря на все мои доводы, при существовании благословенной цензуры, от Ваншаффе и Дейтельмозера нельзя было добиться ничего другого, кроме обещания провести распространение наших основных положений в гражданских и военных учреждениях,—однако, без подозрительного указания на восстановление Бельгии.

Тесное единение с австрийскими партийными товарищами.

Не только военная констелляция, но и интернациональный характер партии делали высоко важными тесное единение и полное согласие с австрийскими товарищами по партии. Австрийская с.-д. партия страдала от того, что Австрия управлялась без парламента,—это значит при строжайшей цензуре и без всякого внимания к настроениям народа. Поэтому австрийские с.-д. не могли открыто высказываться о ведении и целях войны, как это было доступно даже нам. Мы старались путем постоянных сношений обеспечить согласие с австрийцами и выступать также как бы и от их имени. Мы с'езжались то в Вене, то в Берлине, и можно сказать, что между моей партией и австрийской братской партией почти никогда не было разногласий. Для иллюстрации этих хороших отношений я хочу привести несколько заметок о заседании, состоявшемся 19 ноября 1915 года и вызванном двойной потребностью: вернуть войну к ее первоначальному оборонительному характеру и установить единый фронт для обеих братских партий. Я записал: „Мы обсудили общее политическое положение; кроме Фрица Адлера, все австрийские товарищи очень реальные политики. Они одобряют наше поведение и желают, чтобы мы прямо говорили от их имени, когда будем выступать в рейхстаге, по вопросу о войне. Чем яснее мы могли бы говорить о мире, тем лучше для них. Для нас тоже. Очень подробные прения—об экономическом сближении с Германией. Докладывал доктор Карл Реннер. Затем, в Берлине должна была последовать конференция фракции рейхстага, с пред-

ставителями партии, на которую должна была быть приглашена и генеральная комиссия профессиональных союзов. Полны интереса были прения об аннексиях. „Это лозунг, с которым ничего нельзя сделать в Австрии“, сказал Виктор Адлер. „Мы, австрийцы, готовы взять Польшу и Сербию; это не будет аннексией. Аустерлиц даже считал раздел Польши между Австрией и Германией более „счастливым разрешением вопроса“. Как бы то ни было, еще раз стало ясно, что лидеры наших австрийских товарищей обладают хорошим чутьем в реальной политике. Со всех сторон высказывались пожелания теснейшего единения австрийских и германских товарищей во всех вопросах войны“.

Интерпелляция о мире 6 декабря 1916 г.

Понятно, что наша работа для достижения мира не могла вестись втихомолку и в одних только переговорах с заграницей. Для того, чтобы произвести впечатление на общественное мнение враждебных нам государств, нужны были открытые выступления. Из этой потребности и возникла наша интерпелляция о мире 6 декабря 15 года, обоснование которой было возложено на меня. Для того, чтобы охарактеризовать те пути, которыми мы стремились повлиять на правительство в направлении наших идей, не отказываясь на-ряду с этим ни на йоту от своих пацифистских убеждений, я приведу беседу с Бетман-Гольвегом, которая вращается вокруг его и моей речей, произнесенных во время интерпелляции. Воспроизвожу записанное мною, в том числе и заметки о речи канцлера и о впечатлении, какое она произвела на будущих независимых.

3 декабря. Бюро. Я набрасываю речь для интерпелляции. После обеда встречаю в рейхстаге Ванпаффе; он спрашивает меня, получил ли я приглашение канцлера. Канцлер желает говорить со мной завтра, в 12 часов. В бюро я узнаю, что меня по телефону просили прийти к канцлеру.

4 декабря. Я у канцлера. Он очень оживлен и исключительно любезен. Он очень сожалеет о том, что мы все таки интерпеллируем. Но, если так надо, то, по крайней мере, необходимо принять меры, чтобы ничего не испортить, поэтому он и хотел поговорить со мной о своей и моей речах. Он как раз занят составлением своей второй речи, т. е. той, которую он собирается произнести в ответ на мою. Я рассмеялся и сказал, что не считаю правильным, что он начинает с конца: он ведь совсем не знает, о чем я буду говорить. Он: „Ну, в общих чертах я считаю возможным допустить, что большого вреда вы нам не причините“. Я: „Позвольте, ваше превосходительство,—большого вреда! я надеюсь принести большую пользу“. Тогда он стал читать по большой переплетенной тетради с измятыми в середине страницами свою написанную карандашом речь. „Если господин депутат Шейдеман думает, что требования наших противников—блеф, он ошибается. Точно также он идет слишком далеко, говоря, что заграничная политическая пресса не отражает истинных народных требований“. Я тотчас же подхватил его слова: „Если Вам угодно, чтобы я дал вам повод именно это сказать, то я готов, потому что я при этом ничего не теряю“. Он продолжал читать свои наброски. Я нашел, что он очень умно строит свою речь. К концу я снова подхватил его слова, когда он сказал, что имперское правительство охотно пойдет навстречу всякому разумному предложению

мира. Я возразил против слова „разумный“, его надо было либо опустить, либо заменить другим. Он не спорил и обещал.

Раздался телефонный звонок. Он: „Это император хочет говорить со мной“. Я: „Пожалуйста, я перейду в соседнюю комнату“. Он: „Очень Вам благодарен“. Потом он пришел за мной в соседнюю комнату: „Господин Шейдеман, дело в том, что я говорил с главной квартирой, а это выходит так, как если бы разговор велся в этой комнате“. Я: „Да, в 1870 году это было иначе“.

Он: „Ах! я охотно променял бы нынешнее положение на 70 год“. Я: „Да, во всяком случае тогда было легче“.

Наконец я сказал ему: „Ваше превосходительство может быть было бы лучше, если бы вы сообщили мне набросок Вашей первой речи; может быть, мне придется коснуться ее несколькими словами. Было бы однако лучше, если бы мне не надо было сосать это из пальца“. Он: „Очень охотно. До перехода к порядку дня я буду говорить около трех четвертей часа, о Болгарии и о Греции, насколько это возможно, потом о продовольствии. В заключение я укажу, как наши противники все еще проповедуют войну до полного уничтожения нас. Нужна поэтому непреклонная стойкость и так далее. У меня в самом деле готов еще только самый скромный набросок. Сколько времени вы предполагаете говорить, г. Шейдеман, и как вы строите свою речь? Я сообщил ему несколько штрихов, а затем дословно прочитал ему то, что намерен был предложить в качестве основ мира:

— Если имперскому правительству представляется возможность заключить мир, гарантирующий германскому народу независимость, неприкосновенность его

территории и свободу хозяйственного развития, мы требуем, чтобы мир был заключен.

— Да, да, вполне согласен.

Это он нашел приемлемым. „Это может быть принято“. Он только опасается, что другие партийные ораторы будут выдвигать планы аннексии, если я буду говорить против них. Может быть, будет достаточно, если я скажу только о насилии над другими народами и т. п. Он, канцлер, укажет на разрушительные намерения других. Только в том случае, если эти другие, враги Германии, откажутся от своих планов, может идти речь о переговорах. Германия не стремится к мировому господству, война была и есть оборонительная война. Мы не питали ненависти. Наша цель закончить войну таким миром, который гарантировал бы нас от нападения. Наши оборонительные меры должны соответствовать ненависти наших врагов. Маленькие народы, которые служат передовыми позициями Англии, следовало бы обезвредить путем военных, политических и хозяйственных мероприятий. Имперское правительство готово пойти навстречу, если ему будет сделано соответствующее предложение.

Я возражаю, между прочим, по поводу маленьких народов. Заявление канцлера могло бы быть неправильно понято в Голландии, Дании и т. д. Это критическое место в его речи. С этим он тотчас же согласился. Самым усердным образом он будет искать возможно безупречных выражений. Присоединения Бельгии он не хочет, но Бельгия, в качестве аванпоста Англии,—это не годится.

Так мы беседовали с глаза на глаз очень оживленно в течение часа и двадцати минут.

В заключение он спросил меня, кто руководит в Берлине уличными беспорядками (шучами), это Либ-

кнехт? Я защищался против такого предположения. Нам самим очень неприятны уличные события. Чья рука скрывается за ними, этого мы не знаем. Он: „Полиции я не хочу приводить в движение, слишком она неловка. Но это дело не хорошее. А что на ваших собраниях распространяются афишки, это известно (речь шла о небольших афишках, написанных на пишущей машине и затем размноженных). Текст их был: „Мир, мир. В воскресенье того-то числа в 2 часа на Унтер ден Линден“.

Я указал на тяжелую материальную нужду и т. д. и т. д. Перед дверью в зал, до которой он провожал меня, он снова заговорил: „Я всегда завидую депутатам,—тому, что они могут говорить за высоким шопитром. Там можно положить и использовать свои заметки. На моем месте это невозможно; а запоминать—это страшная работа, кроме того это требует массы времени“. Я сказал, что он мог бы взять рукопись своей речи просто в руки, никто не упрекнул бы его за это. Всякому и без того известно, что человек в таком ответственном положении, как он, не высыпает своих речей из рукава. Он: „Нет, нет, это не годится. Если я буду слишком много читать, это уже не будет речью“. На это я заметил, что никогда не мог бы произнести речи, если бы должен был предварительно выучить ее наизусть.

8 декабря. Перед обедом меня посетили в Бюро доктор Давид и Ландсберг. В это время у меня был Вельс. Мы обсудили мою речь, с которой все ознакомились по моему наброску.

Мне удалось рассеять некоторые сомнения товарищей, другие я принял во внимание. В общем они были довольны речью. Но что оставалось сказать после меня Ландсбергу? Моя речь исчерпывала весь материал. Я утешал его указаниями на прения,

которые должны были, также как и речь канцлера, дать ему достаточно материала. Да, а что же скажет канцлер? Я сообщил то, что Бетман-Гольвег сказал мне в воскресенье. Ландсберг охотно переговорил бы лично с канцлером. На мою немедленную просьбу канцлер ответил приглашением к себе нас обоих на 4 часа того же дня. Бетман-Гольвег принял нас очень приветливо. Беседа почти та же что и в воскресенье. Ландсберг добился обещания, что в ответной речи на мою интерpellацию канцлер повторит фразу одной из своих предыдущих речей: „Мы не желаем подавления мелких национальностей и т. п.“. Ландсберг пошел в университет, я в рейхстаг. Там я встретился с фон-Пайером. Он: „Все буржуазные партии договорились об общей декларации на завтра. Вот она,—не более 20 строк, Шпан прочитает ее“. Я: „А что в ней? Это для меня главное“. Он: „Ну образцовым произведением я ее не считаю, но в конце концов мы проглотили ее, потому что все другие партии уже приняли ее“. Я: „Я случайно увидел в конце слова: приобретение территории, значит декларация в защиту аннексии?“ Он: „Нет, нет, но тем не менее опровержение Вашей точки зрения „никаких аннексий ни при каких обстоятельствах“ здесь, несомненно, есть: то, что абсолютно необходимо в качестве гарантии, мы должны взять. Следует длинный разговор на тему об аннексиях. Затем фон-Пайер говорит: Декларацией должно закончиться завтрашнее заседание“. Я: „Как это понимать?“ Он: „После ответа канцлера на вашу речь будет говорить Ландсберг, затем Шпан прочитает декларацию, и конец“. Я: „Позвольте, вы это не серьезно? Ведь само собой разумеется, что раньше должна быть прочитана декларация, а затем заслушана речь Ландсберга“. Он: „Нет, именно

этого мы не хотим. В нашей декларации нет никакой полемики против вашей партии. Тем не менее возможно, что ваш оратор коснется декларации. Раздастся какой-нибудь возглас—известно, как это бывает—кто-нибудь попросит слова, и развернутся прения. Этого мы хотим избежать, так как мы и без того считаем интерпелляцию очень вредной с точки зрения государственных интересов“. Я убеждал его, как умел, что такой порядок заседания, какого он хочет, будет несчастьем, против него говорят традиции палаты; с давних пор существует обычай, по которому интерпеллирующей партии принадлежит заключительное слово и т. д. „Гаазе, говорил я, откроет тотчас же большие дебаты по вопросу о порядке дня и крах неизбежен“. Он: „Ничего нельзя больше изменить, так как договорились все партии“. Эventуально председатель не будет давать слова к порядку дня. Я еще раз попытался уговорить его. К сожалению, напрасно. Когда я спросил: „Не думаете ли вы, что, если дойдет до открытого разрыва по этому поводу, то нам при некоторых обстоятельствах окажется невозможным голосовать в дальнейшем за кредиты“. Он: „Но, любезный коллега, разве вы не думаете, что большинству ваших буржуазных коллег это давным давно было бы приятнее всего“. Я информировал обо всем по воздушной почте Ландсберга.

9-ое декабря. Большой день. Канцлер произнес обе речи, и именно так, как он излагал мне их в общих чертах. Во второй он произнес даже места, направленные против меня и оказавшиеся после моей речи беспредметными. Он читал мне эти места в воскресенье и, хотя я сказал ему уже тогда, что вовсе не намерен об этом говорить, он произнес свой ответ точно так, как написал его. Потом

разыгрался скандал, усложненный тем, что Ландсберг просил, а затем отказался от слова, скандал, который я накануне вечером предсказывал Пайеру.

11-ое декабря. Узнал, что во вторник пленарное заседание со внесением кредитов в порядке дня. Поэтому созываю в понедельник в 9 часов в рейхстаге заседание президиума фракции. На 5 часов вечера собираю всю фракцию по телеграфу. Вечером в помещении Генеральной Комиссии профессиональных союзов собрались: Эберт, Мюллер, Браун, я, Бауер, Р. Шмидт, Зильбершмидт и Янсон. Я очень озабочен предстоящим заседанием фракции, ибо многие из наших товарищей слишком мало политики. Скандал, происшедший в четверг, смутил многих. Из-за того, что Бассерман, Шпан, Вестарп и Пайер оказались (в который раз?) неловкими и близорукими людьми, из-за этого не должны больше приниматься военные кредиты? Как будто до сих пор кредиты принимались потому, что Бассерманы и Шпаны были симпатичны.

13-ое декабря. Заседание фракции по вопросу о кредитах, последовавшее за заседанием президиума фракции, в котором мы, против Гаазе и Гоха, высказались за принятие кредитов. Во фракции снова изрядная кутерьма. Снова знакомые речи за и против. Товарищи, покинувшие заседание до голосования или воздержавшиеся, делают впоследствии письменные или устные заявления в одном и другом смысле. В итоге общая картина сложилась так: за кредиты было 66 членов фракции, против—44.

14-ое декабря. Заседание фракции. Отвергается следующая резолюция Ледбура, направленная против Ландсберга: „Социал-демократическая фракция рейхстага заявляет, что в прениях по интерпелляции о мире 9-го декабря тов. Ландсберг, вопреки взгля-

дам фракции, воздержался от занятия позиции, решительно противной аннексионистским требованиям остальных партий, нашел оправдание не менее несомненным аннексионистским планам имперского канцлера и, таким образом, оказал поддержку аннексионистским стремлениям“.

Из изложенного видно, какие трудности представляла для нас борьба за мысль о мире на основах соглашения, но видна также и абсолютно единая линия, проводившаяся нами с начала войны до ее окончания. Крайними ее точками были: с одной стороны борьба против уничтожения Германии, с другой стороны борьба против превращения оборонительной войны в завоевательную.

29-ое мая. Я сказал в своей речи в рейхстаге: „Высшее и наиболее ценное право всякого народа, с нашей точки зрения, есть право на самоопределение... Жить в мире с соседними народами возможно лишь в том случае, если над ними не чинят насилий, не затрагивают их права на самоопределение“. Три года спустя, в зените наших военных успехов, я говорил: „С.-д.—принципиальные противники всяких аннексий и насилий, независимо от того, легко или трудно их осуществление, малы или велики жертвы, с которыми связано их достижение, полезны они на первый взгляд или вредны производящему их народу“. Таким образом неустанна была наша воля к миру на основах соглашения и *sans phrase*. И трагедия, обозначаемая словом „поздно“, которую Германия переживала во всем до сегодняшнего дня, заключается в том, что носители этой воли достигли влияния только тогда, когда ее осуществление не могло уже нас спасти.

Если бы в эти годы скорби кто-нибудь из ответственных членов партии забыл о задаче неутомимой

работы, во имя окончания войны, ему напомнила бы об этой задаче возраставшая каждый день нужда народа, т. е. товарищей по партии в самом широком смысле слова. Продовольствия стало невообразимо мало. В каждой семье были жертвы, вырванные войной, а где органические и неизбежные последствия войны еще не сказались, там правительство тяжело задевало чувствительность народа арестами, осуждением за мнимую государственную измену или нарушениями свободы печати. Резкость в отношениях к трудящимся классам и их печати совершенно не соответствовала уверениям представителей правительства.

„Слово за монархию“.

В предыдущем я указал ту прямолинейность, которая лежала в основе нашей политической деятельности. То непомерно многое, чего требовали от нас и нашего влияния на рабочий класс, я изображу в столько же веселом, сколько и печальном интермеццо, которое вторглось в нашу серьезную и ответственную деятельность. Оно характерно для безнадёжной наивности—в остальном несомненно богатых познаниями,—тайных советников вильгельмовой эры. Я воспроизвожу записи моего дневника и только заменяю X-ом хорошо известное имя тайного советника.

24-ое февраля 1917 года. Тайный советник X втащил меня в одну из комнат Бундесрата для того, чтобы я, не нарушая нашей основной позиции в отношении имперской конституции, все-таки сказал несколько слов в пользу монархии, в противовес юнкерам, которые постоянно норовят вырвать у нас слово „нет“. Если бы было услышано хотя бы не-

сколько моих слов о значении монархии, то в придворных кругах было бы выиграно чрезвычайно много. Мы не имели, по словам X-а, никакого представления о том, как действовали во влиятельных кругах указания на то, что мы антимонархисты. „Много ли знает, напр., такой-то генерал? Ничего“. Для вопроса о новой ориентации было бы ценно даже простое указание на то, что с.-д. никогда не вели республиканской пропаганды. На мой вопрос, как ему пришли в голову такие изумительные предложения и будет ли канцлер в предстоящей ему речи говорить ему о монархии, он ответил: „Да, канцлер должен об этом говорить ввиду травли, которая теперь ведется против него при дворе, ожесточеннее, чем когда-либо. Потому было бы бесконечно ценно, если бы вы в своей речи реагировали на речь канцлера“. Я спросил его: „А что канцлер собирается говорить вообще?“ Он уклонился от ответа, на что я заметил, что постоянные секреты от партийных лидеров, по моему, очень глупы. Было бы гораздо лучше, если бы можно было наперед, хотя бы приблизительно, знать, что последует, а не отвечать неожиданно на важную речь, частности которой оказываются, однако, не всегда правильно оцененными. Он вернулся к своей монархической затее. Я ответил уклончиво. Прежде мне нужно знать, что намерен говорить канцлер.

27-ое февраля. Вчера вечером тайный советник X по телефону пригласил меня к себе. „Мне некогда“. В таком случае он просит придти завтра до обеда. „К сожалению в 11 начинается заседание рейхстага“. Тогда завтра утром в рейхстаге. Я: „Хорошо“. В рейхстаге X поймал меня тотчас же. У него есть речь канцлера, и он читает мне отрывки из нее, вставляя замечания: „Здесь канцлер

хочет внести изменение, этому еще будет дана окончательная формулировка“ и т. д. Долгий спор. Я безусловно должен, по мнению X, сказать какую-нибудь любезность по адресу монархии. Я высмеиваю тайного советника. Он: „Мне кажется, вы действительно не учитываете значения подобного заявления“. Я: „Вы совершенно не учитываете того вреда, который я причинил бы себе подобными глупыми разговорами“. Он уговаривает меня все настойчивее и, наконец, вытаскивает из кармана проект речи, которую я мог бы использовать в качестве основы для нескольких своих фраз. Оба исписанные карандашом листка вклеены в мой дневник. Они гласят:

„Несмотря на тяжкую нужду, рабочие Германии остались в эту войну верны своему верховному вождю. Так верны, как кто-либо верен вообще. Более верны, чем люди, которые в особняках обсуждают, как им натравить друг на друга верхи военных и гражданских общественных кругов, хотя бы такие обсуждения и открывались криками „ура“ его величеству императору. От кого исходят все скользящие вокруг слухи? От рабочих, от с.-д.? Слухи—я страшусь повторить, каждый знает их!—затрагивающие честь монарха? Борьбы против монархии германская с.-д. и рабочее движение никогда не искали, даже никогда не вели ее. Они боролись с вами, с вами, которые среди множества банкетов и празднеств притязали одни, для усиления своей власти, на государство, корону и родину. Кто, например, позаботился о том, чтобы прусское избирательное право оставалось до сих пор неизменным для разобщения прусского государства с одной стороны и прусского народа с другой? Вы хотите, чтобы мы ясно и резко высказались против монархии, для того, чтобы исключить нас из госу-

дарства, и, когда граф Вестарп требует от нас заявления по вопросу о монархии, он хочет услышать „нет“, которое обеспечило бы его партии монопольное положение. Вы хотите, чтобы все осталось по старому, вы хотите не закрепления масс за государством, а их отчуждения от государства, а 4-ое августа, из залога лучших времен, вы хотите превратить в сладкое воспоминание“.

Я высмеял господина X так, что он испуганно стал просить свою рукопись обратно, но я с величайшим спокойствием сунул ее в карман.

Борьба за демократизацию.

Предшествующее изложение относится, главным образом, к нашей позиции во внешней политике, причем оно постоянно подчеркивает стремление партии к миру на основах соглашения. Между тем невыносимость внутреннего политического положения давно созрела и требовала разрешения. Ни один разговор с канцлером или руководителями министерства внутренних дел не обходился без того, чтобы мне не указали на невыносимость внутреннего политического положения. Ко времени стокгольмских переговоров два требования: „мир на основах соглашения“ и „демократизация“ выдвинулись с одинаковой настоятельностью и важностью. Первым значительным толчком, не считая постоянных указаний в речах и статьях, послужило мое произведение, которое появилось в „Форвертсе“ в марте 1917 года под названием „Время действовать“, произвело заметное впечатление и ввергло представителей правительства положительно в неопишемое волнение. Статья, приобретшая историческое значение, гласила:

„Со всех сторон враги! Незачем долго говорить о том, почему симпатии почти всего мира на стороне наших врагов. Ответ найти легко: весь мир видит у наших противников более или менее развитую демократию, у нас же только Пруссию.

Мы всегда, правда, не без сердцебиения, указывали на Россию, которая находится в стане наших врагов, несмотря на то, что у нее самая отсталая форма правления: самодержавие.

Но теперь с самодержавием в России покончено, ибо новый глава государства возложит корону на свою голову не иначе, как с согласия народного представительства. Русское же народное представительство подлежит избранию на основе всеобщего, равного, и прямого тайного избирательного права. Россия быстро расправилась со старым порядком и хочет, если в конце концов не будет республики, посадить на престол князя, благосклонного к демократии. Отныне Россия будет иметь монарха, которому будет предоставлено охранять и оберегать демократию, как королям английскому, датскому и норвежскому. Если так, то вопрос о преимуществах монархии или республики, как формы правления, вопрос, который и у нас до сих пор всегда рассматривался теоретически, не будет вероятно в России играть роли в течение невообразимо долгого времени.

В азиатском срединном государстве мандарины восставали изо всех сил против всяких реформ. Они желали абсолютного монарха до тех пор, пока он творил их волю. Этим они подорвали монархию и заложили основу республики. Но и в европейском срединном государстве подобные же люди пытаются воздвигнуть китайскую стену и затормозить всякую реформу.

Часы показывают без пяти минут двенадцать. Но они воображают, что остановят время, если переве-

дут стрелку на 11. О Дуисбергах, Фурманах я не говорю вовсе.

Но о канцлере я хочу сказать несколько слов. Многие из тех, кто относился к нему враждебно, в тяжкие времена войны научились уважать в нем прямого и честного человека. В течение войны он произнес не одну хорошую, а недавно в ландстаге поистине бодрящую, умную речь, которой он многое разъяснил для будущего. Почему же он в испуге отступает перед тем, что уже теперь безусловно необходимо? Или он хочет войти в историю вечным кунктатором?

Господин фон Бетман-Гольвег хочет начать исцеление Пруссии после войны. На время после войны был проектирован ряд реформ и в России. Но русским война показалась слишком долгой, и чем больше удручал их голод, тем невыносимее становились отяжки и, повидимому, они сказали себе: уж если невозможно достать всем хлеба и картофеля, что мешает нам по крайней мере дать всем равные права?

Так настало 11 марта, а потом последовало отречение царя, и пришла демократия.

Почему откладывать на завтра то, что абсолютно необходимо и уже много лет назад было признано самим королем одною из настоятельнейших государственных задач? Зачем откладывать на завтра, когда это может произойти сегодня?

Говорят, что необходимо преодолеть ряд трудностей. О, да, солома загромождает дорогу и нитка перерезает улицу принца Альбрехта. Но такие ли трудности народ преодолевает теперь? Миллионы людей с решимостью идут каждый день на смерть за новое отечество, где все будут равноправны, миллионы и десятки миллионов переносят дома вели-

чайшие мучения, они будут все громче спрашивать: за что? За Пруссию Вестарпов и Вейдебрандов?

Нужно остерегаться народа, который, как германский и прусский народ, так неслыханно много дал в эту войну и даст еще в дальнейшем. Все действуют как один. Больше того, беднейший сын родины оказался лучшим ее сыном.

В торжественной речи канцлер заявил об этом германскому народному представительству перед всем светом. На всех возложены одинаковые обязанности, неужели же хотя бы один день после войны не равны будут права? Невыносима самая мысль о том, чтобы после войны те, кто каждый день занимался гешефтами и проводил ночь за ночью в теплой постели, обладали большими политическими правами, чем храбрецы, которые вернутся домой из-под артиллерийского огня, из воздушных флотилий и подводных лодок.

Настало время решительных действий. Трудности, которые могут возникнуть, если правительство предложит реформу избирательного права, легки, как перо, в сравнении с теми трудностями, которые может повлечь за собой невнесение соответствующего проекта. Парламентские партии, которые в ландстаге отважились бы сказать „нет“, когда правительство энергично потребует равного избирательного права, были бы устранены одним движением руки. Итак, нужно только серьезно желать, желать теперь же!

В нижней палате реформа пройдет очень быстро. А что до верхней палаты, то кто боится ее во времена, когда мы с решимостью ведем борьбу на жизнь или смерть почти с целым миром?

Времена серьезные, и реформа прусского избирательного права назрела. Имперский канцлер не дол-

жен медлить больше ни одного дня. Прусский народ и остальные союзные германские государства, как один человек, встанут на его сторону, если он будет действовать решительно“.

Надо сказать правду, статья сильно задела не только правительство, но, к величайшему моему сожалению, и некоторых членов моей собственной партии; так один из них сказал мне в величайшем волнении: „Такие вещи нравятся публике, но в качестве члена президиума партии, ты не имеешь права так писать“. Прямо и с большим раздражением я ответил ему, что плюю на подобные замечания и лучше откажусь от всех занимаемых мною должностей, чем от неотчуждаемого человеческого права высказывать свои мнения от своего имени.

Вне себя были от моей статьи на Вильгельм-ниграссе. Ваншаффе, верный, благоразумный и очень понятливый помощник канцлера Бетман-Гольвега, пригласил меня в государственную канцелярию, чтобы сказать мне, что я вызвал своей статьей угрожающее возбуждение. Он и канцлер знают-де, что я, конечно, не имел ввиду ничего злого, но от правых им пришлось уже выслушать всевозможные заявления: Шейдеман проповедует революцию и желает ограничить императора в правах и т. п. Я объяснил ему, к чему я стремился: обратить внимание канцлера на то, что, в страхе перед правыми, он не должен забывать о том, чтобы немножко бояться и народа. Я хотел его предупредить и подвинуть на энергичные действия. Если правительство энергично потребует распространения обще-имперского избирательного права на выборы в ландтаг, то национал-либералы и центр не осмелятся заявить, что они не желают дать равных прав солдатам, которые теперь сражаются за отечество. А если бы

они и посмели, канцлер должен решиться на *coup d'état*. Прусское избирательное „право“ существует неправомерно. Он: „Оно существует уже 60 лет. Нельзя допустить, чтобы так долго терпели неправомерность“. Я отвечал энергично: „Я предвижу возражения, что в таком случае недействительны все принятые ландтагом законы. Но этому можно помочь особым законом, который одобрит и утвердит работу ландтага в качестве правомерной. Новому ландтагу будет предоставлено начать свою работу с исправлений и обновлений“. Он был явно испуган и обещал мне добросовестно доложить канцлеру все, что я сказал ему. Потом мы говорили о революции в России. Он рассчитывал на реакцию и военную диктатуру. Тогда дело быстро пойдет к миру. Он считал совершенно понятным, что мы, социалисты, желали успеха русским товарищам, на что я указал в разговоре с ним.

Несколько дней спустя у меня с Эбертом была беседа с канцлером о требуемой нами избирательной реформе в Пруссии. Немного нужно было, чтобы моя статья „Время действовать“ оказалась опять в центре разговора... Говоря с нами, канцлер волновался все больше и больше. Если мы хотим принудить его говорить в рейхстаге об избирательном праве, то он должен будет нам заметить, что это вопрос, подлежащий компетенции прусского ландтага. Мы обстоятельно изложили свой взгляд. В моем дневнике этот разговор записан очень подробно. Цитирую только следующее: „Он принял нас очень любезно; однако, я скоро заметил, что он рассчитывал произвести на меня впечатление, говоря о моей статье очень внушительно с торжественной серьезностью. В действительности он никогда не производил на меня меньшего впечатления, чем

вчера вечером. Я не хотел бы этого записывать, но, как добросовестный летописец, все-таки скажу: от времени до времени у меня было даже впечатление, что он не тот честный человек, каким я его считал и хотел бы считать впредь. Когда он говорил об избирательном праве и об офицерстве, которое является его жестоким противником, я охотнее всего повернул бы к нему спину и ушел“.

«Имперский канцлер Шейдеман».

Этой статье в „Форвертсе“ я обязан, впрочем, и одним примечательным предложением. Лицо, хорошо известное общественному мнению и пользующееся общим уважением, просило меня переговорить с ним, к чему я, разумеется, немедленно изъявил готовность. Разговор произошел 30 марта в рейхстаге в „комнате Цепелина“. Цель его: мне предлагалось осуществить „смелое дело“, а затем занять пост имперского канцлера. Уважение ко мне и мое влияние и в буржуазных кругах, так уверяло меня высокопоставленное лицо, значительно больше, чем я думаю; огромное большинство народа последовало бы за мной, если бы я мог решиться... Готов ли я на „смелое дело“? Я заверил его, что не испугался бы ничего, если бы мог питать уверенность, что тем подготовлю конец войне и нужде нашего народа. В данный момент у меня такой уверенности нет. „Смелое дело“, которого он желает, означало бы гражданскую войну, а с ней верное поражение по всей линии. Мой собеседник ушел недовольный.

Последовательным увенчанием нашей настойчивой работы в пользу мира на основах соглашения была резолюция комитета партии, в которой формула: „без аннексий и контрибуций“, заимствованная из

русской революционной программы, была в первый раз в Германии принята политической партией, стоявшей на почве „мира на основах соглашения“. Прямолинейность поведения социал-демократии не могла выступить яснее, чем в этой резолюции, которая была, может быть, новой и еще более точной формулировкой позиции, которую социал-демократическая партия заняла, как указано в начале настоящей главы, еще в 1915 году.

которой резко выступит еще раз в рассказе о стокгольмской конференции.

В моем дневнике значится следующая запись от 17 января 1917 года.

Разговор с государственным секретарем Циммерманом.

„Циммерман пригласил меня для беседы в министерство иностранных дел. Он был очень откровенен и сказал приблизительно следующее:

„Жребий брошен. Первого февраля начинается беспощадная подводная война. За нее высказалось главное командование. Гинденбург и Людендорф заявили, что, независимо от других услуг, подводная война послужит им в качестве стимула для наших войск. Строго конфиденциально: мораль в армии сильно упала. То, что пережито нами несколько недель назад под Верденом, было самым болезненным за всю войну. Четыре французские дивизии обратили в бегство и взяли в плен пять немецких дивизий. Военное начальство утверждает, что это следствие разговоров о мире. Армия убеждена, что скоро будет мир, для чего же приносить себя в жертву? Людендорф доказал, что это совершенная нелепость. Людендорф предвидел все это. Что же нам теперь делать? Как вы знаете, наше мирное предложение в декабре 1916 года было добросовестно и честно. Но ответы! Ответы, как нам, так и Вильсону! Впрочем, ответ Вильсону доставил ему некоторое удовольствие. Австрийцы, которые хотели во что бы то ни стало мира—а кто его не хотел?—рассуждали после первого ответа так: весь гнев Антанты направлен исключительно против Германии. Для чего же тогда бороться? Тогда-то и

Беспощадная подводная война.

Несчастный 1917 год.—Разговор с Циммерманом.—Канцлер не говорит ни да, ни нет.—Социал-демократическая партия осуждает подводную войну.—Кесель и Коген за нее.—Обмен телеграммами с Гомперсом.—Беседа с послом графом Бернсторфом.

Несчастный 1917 год.

1917 год принес с собой события, полные важнейшего значения для войны, ее военного и политического проведения, и играющие еще и поныне выдающуюся роль в борьбе партий. В январе, несмотря на предупреждения тех, кто видел, что это обострение борьбы, которое не могло не восстановить против нас нейтральные государства, особенно Америку, должно принести величайшие несчастья, было решено начать подводную войну. Тот же год принес первые крупные голодные забастовки в Берлине и Лейпциге, стокгольмскую конференцию, резолюцию о мире, первую международную попытку окончить войну и первую национальную попытку к тому же. Завершился год величайшей ошибкой военной политики—Брест-Литовским миром.

Я изображаю здесь во взаимной связи нашу партийную и мою личную позицию в отношении к подводной войне, разрушительное политическое действие

пришел ответ Вильсону. „Национальный принцип“. Это значит, распадение Австрии. Ну, тут-то они сразу образумились“.

Я спросил Циммермана о Турции и Болгарии. Ведь Радославов заявил ему, что у него в руках доказательство того, что болгарские цели войны были одобрены Антантой.

Циммерман. „Это верно, что Антанта действовала относительно Болгарии очень ловко. Она, например, ничего не говорит о передаче Константинополя русским. Таким образом, болгарам должна быть открыта возможность разнообразнейших надежд. Но король Фердинанд умный человек и держится крепко. Он хорошо знает также, как ненавидят его и его семью в России. Он должен твердо стоять на своем. И ничего другого ему не остается. Да, Турция! Ее судьба решится в Западной Европе. Это она хорошо знает. Антанта занята обширнейшими приготовлениями для наступления на Западе. Но и на Востоке не будет ничего хорошего. Итальянцы хотят попробовать, если только возможно, взять Триест. Жесточкой борьбы следует ожидать и в Месопотамии. Если бы Багдад пал, было бы очень плохо“.

Тогда я спросил Циммермана, как Гинденбург и Людендорф оценивают положение и будущее.

Циммерман: „Они определенно надеются предотвратить прорыв на Западе и наверняка рассчитывают на то же на Востоке. Разумеется, что и мы делаем большие приготовления. На Западе наши войска будут отведены до наперед приготовленного места, которое считается неприступным. Там все залито бетоном. Вооружение и продовольствие подвозятся под землей, также производится и замена войск свежими. Этот отвод армии преследует также и тактическую цель. Абсолютно конфиденциально:

такими передвижениями думают положить конец позиционной войне. Если бы удалось придти в движение, то наше тактическое преимущество, лучшее командование, сказалось бы тотчас“.

Он подробно изобразил положение на фронте, и я должен был сделать вывод: наши дела очень плохи, и только поистине героическая борьба при исключительно выдающемся командовании может предотвратить прорыв.

Тогда я снова перешел к вопросу о подводной войне. „По моему, сказал я, это игра ва-банк“.

Циммерман: Положение очень тяжелое, и решение было так же трудно, как перед самым началом войны. Мы стояли перед роковым вопросом. Как относились к подводной войне я, Гельферих и канцлер—это Вы знаете, но теперь не оставалось больше выбора. В Плессе (главная квартира) были детально рассмотрены все „за“ и „против“. В конце концов канцлер сказал: „Я не могу взять на себя ни возражений против беспощадной подводной войны, ни ее защиты против вашего величества. Я присоединяюсь к решению вашего величества“. Конечно, все время происходил непрерывный канцлерский кризис. Счастье, что его в конце концов устранили. Вы не можете себе представить, какая травля ведется против Бетман-Гольвега.

Я: Что будет с Америкой? Вступит она в войну, или речь Герарда, в которой он сказал, что отношения между Америкой и Германией никогда не были лучше, чем теперь, должна иметь успокаивающее значение? Что сделают остальные нейтральные государства?

Циммерман: Разумеется мы сделаем все возможное, чтобы не втянуть Америку в войну. 1 февраля, т. е. тогда, когда начнется подводная война, мы

пошлем очень дружественную ноту, в которой мы укажем на великодушные попытки Америки приблизить мир. Мы раз'ясним, что мы только тогда вынуждены были прибегнуть к применению подводной войны, когда положение существенно изменилось и т. д. Мы сделаем определенное предложение относительно американских судов.

Я: Да, а как же будет с правомерными интересами нейтральных государств, охраны которых мы требовали и в общей резолюции рейхстага?

Циммерман: Будет указана определенная полоса, в которой будет вестись подводная война. В остальной нейтральные суда могут плавать сколько им угодно.

Я: После прежнего обмена нотами, конфликт с Америкой кажется мне все-таки неизбежным; а что будет, если Америка вступит в войну?

Циммерман: Я согласен, что за конфликт с Америкой говорит величайшая вероятность. Но есть различные формы конфликтов. Может быть, Вильсон ограничится разрывом дипломатических сношений?

Я: Если бы случилось только это и ничего больше, то и тогда разве возможен был бы хотя бы наполовину приемлемый мир?

Циммерман: Поверьте мне, что эти вопросы занимают нас непрерывно и все-таки: что нам делать после получения позорных ответов?

Я: Разве это было в самом деле умно: на обращение Вильсона ответить ссылкой на прямые переговоры между воюющими? Разве не лучше было указать цели войны? В сравнении с условиями Антанты наш ответ был бы блестящ в глазах мира.

Циммерман: Мы не могли действовать иначе. Впрочем, конфиденциально: Вильсон уже знает, чего мы хотим. Мы неофициально уведомили его.

Дело обстоит так: продлился война еще год, мы должны будем принять любые условия мира, поэтому мы должны попытаться найти решение вопроса раньше. Год назад подводная война была бы безумием, теперь положение дел другое. У Англии большие затруднения с продовольствием. Гельферих считал, что с'естных припасов у нее всего на шесть недель. У нас же как раз теперь возросло число подводных лодок: их 150, причем 120 больших, и ежемесячно прибавляется 12 новых. Если мы теперь будем ждать, Англия покроет свои недочеты, и все наши шансы отпали. Как раз теперь наступает время подвоза с'естных припасов из Аргентины и Австралии, значит, надо это взорвать. Иначе будет поздно.

Я: Так как речь идет о бесповоротном решении, то я прошу справки о том, как обстоит дело с европейскими нейтральными государствами.

Циммерман: Правда, решение принято. Однако, я поеду на днях в Вену за согласием императора Карла. Он должен действовать вместе с нами, чтобы не иметь потом возможности сказать, что дело шло только о германском решении. Да, нейтральные государства! Голландия уже обеспечена продовольствием, и вероятно, ничего против нас не предпримет. Голландский посланник неоднократно просил меня сказать ему откровенно, начнется ли подводная война,—для того, чтобы его страна могла запаситься продовольствием. Голландия зашлась, это я знаю. О Дании определено известно, что она тоже ничего не предпримет. Это говорит не только наш представитель, но и датский министр-президент. Швеция абсолютно надежна. У нее против России те же интересы, что и у нас. От времени до времени еще говорят о симпатиях в той или

иной нейтральной стране. Все это нелепость. Дело идет об интересах и ни о чем больше. Потому-то Швейцария и является большим вопросительным знаком. Что делать Швейцарии, если с ней поступят, как с Грецией? Чтобы быстро добиться решения, которое спасло бы от голодной смерти, ей, может быть, придется взяться за оружие рядом с Антантой.

Я: Значит, положение отчаянное. Как же смотрит на все это Гинденбург?

Циммерман: Конечно, сделаны все приготовления, чтобы в случае надобности приструнить и Голландию, и Данию. Когда в военном Совете было указано на возможность войны с Швейцарией, то Гинденбург сказал: это было бы нетрудно, отсюда можно было бы заставить французский фронт свернуться.

Мы еще долго говорили о разных вещах. Я несколько раз настойчиво просил сделать все, что только возможно, для избежания войны с Америкой. Он отвечал, что это разумеется само собой. Циммерман был очень серьезен и, как мне показалось, очень мало уверен. В заключение он сказал: „Как бы дело ни сложилось, „дикие люди“, вроде Бассермана, все равно будут жестоко обвинять правительство. Обернется дело хорошо, они будут говорить, что это давно было бы так, если бы так долго не медлили. Сложится дело совсем благополучно, правительство будет виновато в том, что слишком долго медлило“.

В общем, зная, что я никому не могу сообщить о разговоре, я вел себя очень сдержанно, многократно указывая, однако, на нашу позицию с начала войны.

Таким образом, жребий брошен; подводная война стала неизбежной, и дело могло идти только о том,

чтобы ее по возможности обезвредить. О том, чтобы „народ“ сливался в единодушном крике „вперед, подводные лодки“, как утверждали Фурманы и Бассерманы, не могло быть и речи. В ряде публичных собраний, которые привели меня в эти дни между прочим в Штутгарт, Мангейм, Гейдельберг и Пфорцгейм, я мог с бесспорностью установить, что настроение в стране постепенно опустилось ниже нуля, и не надежда царила в связи с ожидаемой подводной войной, а общий страх.

Так же, как мы, сделал в эти дни все для человека возможное и профессор Ганс Дельбрюк для того, чтобы побудить „Вильгельмштрассе“ хотя бы к такому ведению подводной войны, чтобы Америка не была прямо принуждена вступить в войну. Я был в это время в постоянном общении с Дельбрюком и знаю, как неутомимо деятелен он был в стремлении предотвратить величайшее несчастье для страны. Мы оба, при содействии влиятельных американцев, добивались особенно того, чтобы правительство сделало определенное заявление о Бельгии. 25 января Бетман-Гольвег и Циммерман отправились в главную квартиру. Я узнал об этом всего за полчаса до их отъезда и тотчас же телефонировал Ваншаффе, который твердо обещал мне немедленно сообщить уезжающим все возражения и предложения, сделанные мною и Дельбрюком. Ваншаффе сказал мне: „Работа в вашем направлении ведется непрерывно. Только что поступила записка одного высокопоставленного лица, которая делает те же предложения. Я провожу канцлера на вокзал и доложу ему обо всем, что вы мне сказали“. Я думаю, что высокопоставленным лицом был принц Макс Баденский.

Социал-демократическая партия высказывается против подводной войны.

В хозяйственной комиссии рейхстага развернулись оживленные прения по вопросу о подводной войне. Позицию социал-демократической партии должен был сообщить комиссии, после обстоятельного обсуждения ее членами фракции, депутат доктор Давид. Президиум фракции сообщил об этом лицам, пользующимся доверием партии, следующее:

„Берлин, 9-го февраля 1917 года.

Уважаемый товарищ! Ввиду скудости сведений о рассмотрении вопроса о подводной войне в хозяйственной комиссии рейхстага, желательно сообщить Вам более точно о позиции наших товарищей в комиссии. Само собой разумеется, что речь идет о строго конфиденциальном сообщении, которое не может быть использовано публично и делается только для Вашей личной ориентировки.

Товарищ д-р Давид изложил позицию фракции, геср. социал-демократических членов комиссии, в речи, которую мы прилагаем, воспроизводя ее по официальному (не стенографическому) отчету. Все социал-демократические члены комиссии присоединились к товарищу Давиду.

С партийным приветом! За президиум социал-демократической фракции рейхстага Ф. Шейдеман.

Приложение.

Речь доктора Давида.

„Принятое решение наиболее серьезно среди принятых в нынешнюю войну, и люди, принявшие это решение, должны одни нести за него ответственность. Эти люди действовали во всяком случае, в твердом убеждении, что таким образом время войны будет

сокращено и война доведена до благополучного конца. Мои друзья не могут, однако, разделить этого взгляда, и должны открыто высказать опасение великого несчастья для Германии, которое может произойти от прискорбного для них решения. Мои друзья также всегда смотрели на подводную войну, как на вопрос целесообразности. Но они стоят и теперь на той же точке зрения, какую раньше занимало правительство.

В технических соображениях адмирала фон-Капелле о количестве подлежащего уничтожению тоннажа упущен учет прироста тоннажа у наших противников. Если наши противники строят ежемесячно 150 тысяч тонн, то в полгода это составляет уже 900.000 тонн. К этому надо присоединить и возможность предоставления нашим противникам немецкого тоннажа, находящегося в нейтральных гаванях; это составит еще 1½ миллиона тонн.

Это почти вера в чудо—предположение, что наши подводные лодки, которые не могут прорвать неприятельских заграждений в канале и на севере от Шотландии, со своей стороны окажутся в состоянии создать заграждения вокруг Англии. Наши подводные лодки не могут об'явить английскому флоту шах и мат. Пока существует мост Довер-Калэ, подвоз из Франции имеет для Англии большое значение.

Вычисления статс-секретаря доктора Гельфериха не имеют решающего значения. Такие же вычисления делаются и нашими противниками по адресу Германии. Хозяйственное положение Германии в настоящий момент значительно хуже положения наших противников, и все-таки мы справедливо говорим, что это нас не сломит. Но ту решимость, какую проявил наш народ, необходимо предполагать и в противнике. Если бы Англия была действительно

остро стеснена нашими подводными лодками, то тогда она бы еще более напрягла все свои силы, и решимость ее только возросла бы.

Решающий вопрос в этом деле—это поведение Америки. Исход войны определит Америка. Поэтому должно быть сделано все для того, чтобы удержать Америку от участия в войне.

Заявления статс-секретаря Циммермана внушают сильное беспокойство. Уговорами в стиле буршей цели не достигнешь. Америкой будут руководить только ее интересы, а не какие бы то ни было уговоры в нашу пользу. Политически-влиятельная часть населения в Америке англо-саксонского происхождения и, учитывая хотя бы японскую опасность и длительный интерес, который представляют добрые отношения к английскому империализму, не терпит никакой враждебной Англии позиции.

Указания депутата Гребера на то, что в английской прессе высказывается страх перед подводной войной, нельзя считать надежными. С полным успехом здесь можно усмотреть и хитрость со стороны Англии, которая в конечном итоге направлена на то, чтобы привлечь Америку на сторону Антанты.

Что означает вступление Америки в войну, этого подробно объяснять незачем. До сих пор Антанта должна была покушать у Америки военное снаряжение за высокую цену. Но в тот момент, когда Америка выступит против нас, она предоставит Антантае снаряжение и деньги бесплатно. Прежде едва верили тому, что Англия окажется в состоянии бросить на континент миллионы солдат. Теперь надо опасаться появления на Западном фронте американских военных сил. Надежды сломить Англию прежде, чем выступит Америка, я разделить не могу. Вступление Америки в войну, может быть,

настолько укрепит морально Антанту, что она и не станет думать о прекращении войны, прежде чем Америка бросит свои силы на театр военных действий. Ко всему этому надо прибавить психологическое воздействие на нейтральную Европу.

Поэтому все усилия должны быть направлены на то, чтобы удержать Америку от войны. Наше мирное предложение, несомненно, укрепило под нами почву в Америке. Послание Вильсона к сенату направлено, главным образом, против Антанты, это выражается в стремлении добиться мира без победы, т. е. без дальнейшей борьбы, при данной военной ситуации, далее в требовании равноправия наций, а также в положениях, направленных против равновесия сил и в защиту свободы морей. Теперь возникает опасность разрушения этой благоприятной ситуации подводной войной.

Легкомысленным является и отношение к Вильсону со стороны некоторой части нашей прессы. У нас ведется травля Америки, которой следует решительно положить предел.

Если депутат Бассерман думает, что народ настроен у нас в пользу решения правительства, то это, ввиду развернутой агитации и недостаточной ориентированности общественного мнения, ничуть не удивительно. Однако, когда Америка вступит в войну, тогда народное настроение грозит сделаться совсем иным. К этому нужно прибавить наши продовольственные бедствия и негодование населения перед тем фактом, что большие города обрекаются на голод в интересах деревни. Должно быть, наконец, установлено справедливое распределение. Наш народ хочет мира и во всяком случае у него достаточно врагов. Ввиду этих настроений присоединиться в прениях о целях войны к депутату Греберу невоз-

можно. Прения эти, действительно, несвоевременны. Пока неприятель не желает предлагать нам мира, который обеспечивал бы наше настоящее и нашу будущность, мы должны были быть готовы к борьбе. Но в то же время мы должны были всегда быть готовы к любому приемлемому миру.

На вопрос о том, как должна быть окончена война, если к подводной войне не обращаться, надо ответить, что наше положение отнюдь не может считаться неблагоприятным. Если бы мы выдержали курс, которому следовали до сих пор, мы в не слишком продолжительном времени добились бы благоприятного мира. Россия переживает глубокий внутренний кризис. Во Франции наше мирное предложение также вызвало кризис, и министерство Бриана держится с трудом. Неудача наступления на Сомме и другие военные события привели к правительственному кризису в Англии. Правда, военная партия еще раз одержала верх. Но оппозиция растет на глазах. Германское мирное предложение укрепило ее. Если государственным деятелям у наших врагов не удастся оплатить векселя на близкую победу, они должны будут уступить свое место другим людям, готовым на разумный мир. Если нам удастся в ближайшие месяцы успешно продолжать нашу оборону, это означает для нас победу.

Поэтому нельзя примириться с мыслью, что этот верный путь должен быть оставлен для перехода к политике, которая в конце-концов—игра ва-банк.

Как наша печать, так и наше правительство должны испытать все средства не допустить вступления Америки в войну. От этого зависит исход войны.

После того, как решение начать подводную войну принято бесповоротно, мои политические друзья, конечно, не могут думать о том, чтобы создавать

трудности ее проведению. Они обязывают себя к воздержанию от публичных выступлений по этому поводу, которое диктуется бедственным положением нашей страны перед целым миром врагов. Но и противная сторона не должна усугублять трудности нашего положения, для того, чтобы не рухнуло единственное, что еще может спасти нас, как бы ни сложились обстоятельства: тесное внутреннее единение нашего народа“.

Двадцать первого февраля фракция рейхстага одобрила позицию своих членов в хозяйственной комиссии по вопросу о подводной войне. При обсуждении два депутата, к великому изумлению остальных членов фракции, объявили себя сторонниками беспощадной подводной войны. Это были доктор Кессель и Макс Коген.

Обмен телеграммами с Гомперсом.

До самого отъезда американской миссии из Берлина, у меня были с нею, правда, не непосредственные, очень хорошие отношения. Этим объясняется, вероятно и то, что посол Герард, которого я привык ценить в качестве честного, умного и приличного человека, в критическую минуту пригласил меня вместе с Вальтером Ратенау, Петром Шпаном и несколькими другими лицами для заведывания значительной суммой денег, собранной в Америке для вдов германских воинов. Еще 9 февраля меня посетил один из членов американского посольства, желая проститься со мной. При этом он изъявил готовность взять с собой письма к моим друзьям в Англию. При всем уважении к этому очень умному человеку осторожность не позволила мне воспользоваться его предложением. Я удовольствовался тем,

что просил передать моему английскому другу Рамзею Макдональду сердечный привет и благодарность за его мужественное поведение.

В эти же дни от Самуэля Гомперса, президента американских профессиональных союзов, получилась следующая телеграмма, адресованная германскому его коллеге Легиену:

„Легиену. Берлин. Не можете ли вы повлиять на германское правительство для того, чтобы избежать разрыва с Соединенными Штатами и таким образом воспрепятствовать мировому конфликту?“

Легиен, Бауер и некоторые другие вожди профессиональных союзов устроили совещание со мной. Мы согласились отправить следующий ответ:

„Гомперсу. Афель. Вашингтон. Германский рабочий класс с самого начала войны работал на пользу мира и является противником всякого расширения войны. Отклонение искреннего германского предложения немедленно начать мирные переговоры, продолжение жестокой голодной войны против наших жен, детей и стариков и открыто неприятелем признанные цели войны, направленные на уничтожение Германии, вызвали обострение войны. Воздействие с моей стороны на правительство обещает успех лишь в том случае, если Америка склонит Англию к отказу от голодной войны, противной международному праву. Я призываю американский рабочий класс не стать орудием подстрекающих на войну. Рабочий класс всех народов должен непоколебимо стремиться к немедленному миру“.

Известна та травля против Германии, и в особенности против германских социал-демократических рабочих, которой впоследствии занимался Гомперс. Эта его деятельность принадлежит к числу самых черных страниц в истории современного рабочего движения.

Разговор с послом графом Бернсторфом.

К изложенному я хочу прибавить разговор с графом Бернсторфом, который до вступления Америки в войну был нашим послом в Вашингтоне. Правда, разговор этот произошел лишь три месяца спустя, вскоре после того, как послу, которого ненавидели в главной квартире, удалось, наконец, сделать первый доклад императору после возвращения в Германию.

Но по существу, разговор этот неразрывно связан с проблемой: подводная война и Америка. Он показывает еще раз, как правильно мы оценивали положение и как недопустима была какая бы то ни было оптимистическая надежда удержать Соединенные Штаты от вступления в войну, так же как и недооценка этого вступления.

Я встретился с Бернсторфом по его желанию в Отеле „Эспланада“. Он тотчас же заверил меня, что согласен с моей формулировкой целей войны. Это единственное требование, которое может быть выставлено, если мы хотим справиться с войной. Большое значение, по его мнению, имеет и энергичная демократизация государства. Он хорошо знает настроение за границей. Он 8 лет был в Америке и до того 4 года в Англии. Наше правительство считают не только лицемерным, его считают также и слабым. Говорят, что если Бетман даже полон самых лучших желаний, то он ничего не может провести, потому, что у нас господствует военщина.

Достаточно напомнить одно: общеизвестно, что Бетман и слышать не хотел о подводной войне. Тем не менее ее ведут. Почему? Потому что ее хотела военщина, которая господствует в Германии. В недавней беседе с императором, он, Бернсторф,

очень подробно высказался о внутреннем положении страны и подчеркнул необходимость пересмотра конституции. Император выслушал его замечания с большим интересом и в заключение сказал, что он в дальнейшем информируется подробнее. Случай пожелал, чтобы тут же пришел к императору Баллин. „Ничуть со мной не стовариваясь, он сказал императору то же, что и я. В ответ на это император попросил Баллина составить записку. Баллин тотчас же исполнил это желание, так что записка, вероятно, уже в руках императора“.

Я могу заявить, что во всем, что касается войны и ее целей, Бернсторфф стоит совершенно на одной точке зрения со мной. Если он не сказал этого прямо, то во всяком случае дал это понять настолько ясно, что никакого недоразумения в этом быть не могло.

Бернсторфф сообщил, между прочим, следующую интересную вещь: он долгое время работал в том же направлении, в каком я работал в Германии.

Он совершенно убежден, что Вильсон не хотел войны и напротив энергично стремился к миру. Но после того, как в дело были пущены подводные лодки, ему, после всех предыдущих деклараций, ничего не оставалось. Вот он и использовал положение: во первых, для создания значительной постоянной армии, во вторых, для улучшения флота, и в третьих, что для Вильсона главное,—для сооружения торгового флота под предлогом создания тоннажа для Англии. Это с давних пор любимый план Вильсона: обеспечить Америку торговыми судами, потому что ему всегда казалось непонятным, что Соединенные Штаты целиком зависят от торгового флота других стран. Затем Бернсторфф прибавил: если допустить, что подводные лодки принудят Анг-

лию к миру, то это не только не даст нам общего мира, но в тот же момент Америка со своей стороны начнет с нами войну. О том, что это означает, какие хозяйственные последствия несет нашей стране, в этом мы с Бернсторффом были совершенно согласны.

Впрочем, я должен еще прибавить, что в течение разговора Бернсторфф сказал мне, что целый ряд лиц, с которыми он встречается, полностью разделяют его точку зрения, но по сотне разнообразных причин не решаются высказывать ее публично, иногда даже создавая своим поведением такое впечатление, словно они одобряют поведение наших антиподов.

Граф Бернсторфф, уже при первой встрече произвел на меня самое лучшее впечатление. Это серьезный человек с большим опытом во внешней политике, которого я узнал потом ближе также в качестве очень благожелательного человека. За границей, особенно во время продолжительного пребывания в Америке, он освободился от консервативных взглядов, которые вызывают за границей такую нелюбовь к большинству людей его положения.

в случае политических неудач или даже простого ущемления их тщеславия. Не нужно будет добавлять больше ни слова об отношении к рабочим, если я здесь расскажу о деле некоего барона, бывшего высокого должностного лица, и прибавлю, что чинившей в этом случае суд и расправу инстанцией был не кто-нибудь из командующих генералов, а бывший статс-секретарь министерства иностранных дел господин фон-Ягов.

Дело Эккардштейна.

В начале января 1916 года я узнал много дурного о поступках министра иностранных дел фон-Ягова с бывшим советником посольства в Лондоне, бароном фон-Эккардштейном. Барон продал одному книгоиздательству в Штутгарте рукопись своих мемуаров. В них содержалось будто бы доказательство того, что германское правительство, в начале XX века, нанесло обиду Англии, желавшей примкнуть к тройственному союзу, и тем толкнуло ее в объятия Франции. Такое документальное свидетельство со стороны человека, который в занимаемой им должности непосредственно переживал все эти вещи, естественно должно было быть в то время неприятно германскому правительству и прежде всего министерству иностранных дел. Тем не менее господин фон-Ягов избрал линию поведения, которую не будет слишком сурово назвать скандальной. Господин фон-Ягов приказал не только конфисковать рукопись, но и арестовать барона, которого перетаскивали из одной тюрьмы в другую, чтобы в конце концов посадить в дом умалишенных.

Барон фон-Эккардштейн, который, до вступления в дипломатию, был офицером кавалерии, в начале

Две массовые забастовки 1917 и 18 годов.

Притеснения рабочих.— Дело Эккардштейна.— Апрельская забастовка 1917 года.— Требования лейпцигских рабочих.— Массовая забастовка 1918 года.— Положение перед забастовкой в январе 1918 года.— Наше вступление в забастовочный комитет.— Будущий президент республики— преступник.— Уличные демонстрации.— Полиция чинит надо мной насилие.— Роль независимых и ограниченность правительства.— «Организованными путями».

Притеснения рабочих.

Недовольство или, лучше сказать, негодование и год от года толкали рабочие массы во время войны на большие массовые выступления. Если бы я хотел пригвоздить к позорному столбу большинства прежних руководителей государственной жизни не только за интеллектуальные, но и за моральные грехи, то я мог бы заполнить эту книгу, страницу за страницей, самыми неслыханными насилиями и правонарушениями против политически неудобных людей, особенно против радикальных рабочих и социалистов. Даже и нам, которые день за днем имели дело со всем этим, даже нам каждый раз становилось непонятным, как мало психологической проницательности, а, к сожалению, и честности, было в руководящих военных кругах. Впрочем, и гражданские власти не отставали от такой военной практики

войны не подлежал воинской повинности. Тем не менее он поставил себя в распоряжение военных властей для любой службы и, таким образом, получил назначение в службе связи. В один прекрасный день его вытащили из автомобиля и арестовали по подозрению в государственной измене. Дело заключалось в том, что министр фон-Ягов в это время узнал, что барон фон-Эккардштейн, который был прежде в довольно дружеских отношениях с кронпринцем, послал последнему какую-то докладную записку, предназначенную для императора. Эта записка была господину фон-Ягову так же неудобна, как и мемуары; коротко сказать, под самым пустым предлогом барон фон-Эккардштейн был посажен в тюрьму, где подвергся к тому же постыдному обращению. Так, целые недели после заключения в тюрьму он не мог переменить белья, хотя сундуки его стояли в той же тюрьме. Все попытки господина фон-Ягова создать против барона процесс о государственной измене были бесплодны: не находилось суда, который бы принял дело к производству. Оставался таким образом один путь—заключение в сумасшедший дом, разумеется также по самым пустым основаниям.

Доверенное лицо барона сообщило мне обо всем этом и я тотчас же явился в министерство иностранных дел. Господин фон-Ягов пытался меня успокоить указанием на обстоятельства, которые говорили против Эккардштейна, но которых я не мог проверить. Когда я, некоторое время спустя, узнал, что барон все еще содержится в сумасшедшем доме, я сделал в заседании хозяйственной комиссии рейхстага ряд намеков, мало понятных для комиссии, но достаточно ясных министру иностранных дел. Я передал ему также, что если Эккардштейн не будет осво-

божден, я подниму вопрос об этом скандальном деле в рейхстаге. Барона я до тех пор лично не знал. Однажды он уведомил меня через доверенное лицо, что желает переговорить со мной. К живейшему сожалению я должен был сказать, что в ближайшие дни не могу отлучиться из своего Бюро. На это посланец Эккардштейна, к великому моему изумлению, ответил, что барон может и ко мне прийти. На мой изумленный вопрос, как это возможно, последовал ответ: директор и весь персонал заведения возмущены задержанием барона. Директор уже отказывался держать барона, потому что его лечебница не тюрьма. Барон может в любое время отлучиться на несколько часов. Для того, чтобы положение его не ухудшилось, нужно только, чтобы он во-время был опять на месте в лечебнице.

На следующий день меня посетил этот преследуемый человек, и я был так возмущен рассказом об его переживаниях, что тотчас же отправился в министерство иностранных дел с непреклонным требованием освобождения. Господин фон-Ягов опять стал уваливать, но я положил этому конец, заявив, что в следующем заседании рейхстага будет величайший скандал. До этого дело не дошло, потому что в это время господина фон-Ягова сменил господин Циммерман, который, по моему ходатайству, распорядился об освобождении барона.

Я рассказал здесь об этом случае потому, что, может быть, он способен, как яркий пример, охарактеризовать бесправие, царившее во время войны. Если так жестоко и коварно поступали с высоким должностным лицом, то можно себе представить, что предельвалось с рабочими, совершавшими, хотя бы только предположительно, неудобные для правительства деяния.

Из политического озлобления, о котором свидетельствует только что рассказанный случай, и из продовольственной нужды, о которой я, между прочим, говорил в главе „За мир на основах соглашения“, возникла первая массовая забастовка в апреле 1917 г.

Апрельская забастовка 1917 года.

Переговорив с генеральной комиссией профессиональных союзов, мы решили не участвовать в призыве против забастовки. Осторожный руководитель союза металлистов Коген заявил положительно, что все призывы против забастовки будут бесполезны. На это я ответил, что после такого заявления всякий призыв будет величайшей политической глупостью. Канцлер больше всего боялся, чтобы забастовка не затянулась. Об этом нам сообщил Ваншаффе в разговоре, который произошел 14 апреля 1917 года. Эберт и я объяснили ему, почему всякое усилие предотвратить забастовку должно оказаться тщетным: главные причины ее в голоде, которого нельзя, конечно, утолить тем, что в критическую минуту еще сокращают норму хлеба. Мы изображали положение в самых мрачных красках. Во что выльется движение 16 апреля, не знает никто. Он должен заботиться о том, чтобы власти вели себя сдержанно.—Он: „Я говорил с господином фон-Оппенем, президентом полиции. Он относится ко всему очень спокойно и намерен устранить всякое вмешательство. Свою задачу он усматривает в том, чтобы удержать массы вдали от центра города“. В заключение я просил его передать от нашего имени канцлеру просьбу: идти неуклонно против желаний правых по пути, который огромное большинство народа считает единственно возможным:

мир, хлеб и последовательная демократизация. Пока не будет полного равноправия, в стране не будет спокойствия. Психика народа изменилась за время войны, а также после русской революции. Я не мог отказать себе в том, чтобы сказать: „На что не согласился бы теперь царь?“ Он ответил: „Да, я думаю“. В дальнейшем к нашей беседе присоединился и советник посольства, доктор Рицлер. Когда всего присутствии речь зашла о Фурманах и Ревентловых, Ваншаффе заметил: „Эта кучка, вероятно, сильно растаяла“. На что Рицлер сказал: „Всем им место в паноптикуме“.

Берлинская забастовка прошла спокойнее, чем ожидали. Бастовало, по крайней мере, 125.000 рабочих, мужчин и женщин, занятых в снарядных мастерских.

Характерно для беззастенчивости цензуры, что из газет в окопах не узнали об этом массовом движении ничего. Тем больше сообщений полетело на все фронты по полевой почте. Все это были вести об угнетении и голоде, царящих дома. Это и было основное настроение и материал, на котором мы, социалисты, должны были вести политическую работу, чтобы предотвратить величайшие несчастья и не обресть народ на искупление всех ошибок правящих кругов. Ошибки, из которых родилась стачка, были навсегда непоправимы: забастовка 125.000 рабочих, изготовляющих снаряды, это грозное предупреждение!

Требования лейпцигских рабочих.

Лейпцигские рабочие держали себя радикальнее берлинских. В заседании, на котором присутствовали, кроме меня, также Лебель, Гренер и Бауэр, Гельферих сообщил нам, что в Лейпциге 18.000 ра-

бочих вынесли резолюцию следующего содержания: „Собрание требует немедленного снабжения населения продовольствием и углем в достаточном количестве, далее оно требует: заявления о немедленной готовности заключить мир без всяких аннексий, отмены осадного положения и цензуры, свободного и равного избирательного права во всех союзных государствах. Собрание требует, чтобы имперский канцлер немедленно принял делегатов собрания: Либермана, Лимана и Липского. Делегатам предоставляется предъявить канцлеру дальнейшие требования от имени собрания. Работа в Лейпциге должна возобновиться не ранее, чем канцлер даст удовлетворительный ответ. Если такого ответа не последует, должен быть организован рабочий совет“.

Ваншаффе дополнил это сообщение: согласно телеграмме главного командования, 17 апреля многие хотели возобновить работу. Этого не допустили, однако, патрули бастующих. Царило спокойствие. Число участников собрания определяется в 12.000. Позднее сообщили, что помещение, где происходило собрание, вмещало не более 5.000 человек. Гельферих желал знать наше мнение: принимать делегатов или нет? Он принципиально против принятия, потому что к чему же это приведет, если, побужденные удачным лейпцигским примером, со всех сторон начнут стекаться депутации? Можно допустить беседу о продовольствии, но ни в коем случае не о политических вопросах. Для этих вопросов в государстве существуют определенные органы, прежде всего рейхстаг, избранный всеобщим голосованием. Я высказался за принятие депутации. Надо учесть общее положение. Отказ принять депутацию вызовет большое раздражение. О продовольствии должны быть даны требуемые и притом соответствующие дей-

ствительности разъяснения. Тогда рабочие должны будут понять, что сейчас не может быть сделано ничего кроме того, что обещано. Можно, не боясь последствий, говорить и о политических вопросах. Правительство могло бы указать на честность своих намерений относительно избирательного права и на стремление к миру. Это не могло бы не произвести впечатления. В конце концов сговорились на следующем решении. Если будут требовать принятия делегатов, Ваншаффе скажет, что правительство готово говорить о продовольственном вопросе. В беседе же не будут слишком решительно уклоняться и от обсуждения политических вопросов. В переговорах с лейпцигскими представителями должны были также участвовать Гренер, Михаэлис, Батоцкий и Гельферих.

Отношение с.-д. к этой забастовке рисуют следующие страницы дневника:

2-ое апреля 1917 года. В 9 часов утра в помещении президиума партии явились рабочие ружейно-орудийных заводов, стоящие на нашей точке зрения и считающие продолжение забастовки безумием. Мы посоветовали им добиться на собрании, назначенном на 5 часов, тайного голосования. Рабочие были уверены, что таким образом будет постановлено возобновить работу.

В шесть с половиной часов вечера заседание у канцлера. Присутствуют: Бетман-Гольвег, Лебель, Гельферих, Батоцкий, Гренер, Ваншаффе, Легиен, Бауэр, Р. Шмидт, Эберг, Молькенбур. Предмет суждения: забастовка артиллерийских рабочих. Что делать? Легиен и я настойчиво рекомендуем воздержаться от крутых мер. Надо спокойно смотреть со стороны, вся история идет на убыль. Мы обращаем внимание на собрание, назначенное на сегодня по-

сле обеда. К нашему изумлению мы узнаем, что это собрание запрещено, а ружейно-орудийный завод с зантрашнего дня „милитаризуется“.

Мы выражаем живейшее удивление и сожаление по этому поводу, ибо теперь именно движение может снова разгореться. Канцлер, Гельфрих, также как и Гренер, объясняли, что дальше оставаться пассивным было невозможно. Движение захватило улицу и т. д. В нынешних условиях это таит в себе величайшие опасности. Милитаризация теперь бесповоротна и, вероятно, заставит рабочих образоваться. Понятливее всех оказались Лебель и Гренер, тогда как Гельфрих разыгрывал сильную натуру. Лебель был точно осведомлен обо всех собраниях, где выступали Гаазе, Ледебур, Штадтгаген, Диттман и оба Гоффмана. Со ссылками на возможные параграфы он доказал, как дважды два четыре, что совершается государственная измена. До сих пор смотрели сквозь пальцы, но долго это продолжаться не может. Господа из правительства заявили нам, что больше не допустят выступлений на заводах посторонних заводом лиц. Дело идет о политических собраниях, за которыми необходим надзор. — Мы снова призывали к спокойствию и выжидательной тактике. Легиен указывал на прокламацию всех центральных комитетов профессиональных союзов. Когда мы расходились, Ваншаффе остановил Эберта. Он поставил ему на вид обращение, которое решил выпустить комитет партии. В этих серьезных обстоятельствах, он очень советовал всегда предварительно сноситься с правительством. Я очень хорошо понимаю, почему Ваншаффе, который знал меня много дольше и лучше, чем Эберта, не обратился с таким указанием—на 33-ем месяце войны—ко мне.

Положение перед забастовкой в январе 1918 г.

Существенно иной характер носила массовая забастовка в Берлине в 1918 году. Условия жизни трудового населения стали положительно невыносимы. В отчете о забастовке, представленном социал-демократической партией, я, по поручению президиума партии, охарактеризовал положение перед началом забастовки; заимствую из своей характеристики следующие черты:

Осадное положение проводится снова усиленное. Рабочие собрания воспрещаются. Цензура газет становится все строже. Один номер „Форвертса“ за другим оказываются запрещенными. Этому должно быть противопоставлено то обстоятельство, что отечественная партия беспрепятственно устраивает во всей стране собрания, где пропагандирует свои завоевательные цели. Работа отечественной партии положительно подстегивает массы, жаждущие мира. Переговоры на западе приостановились. Крепнет убеждение, что немаловажные трудности были созданы германскими участниками переговоров. Тирпиц разослал членам отечественной партии циркуляр, в котором сообщает о единении Гертлинга с отечественной партией. На вопрос, обращенный к Гертлингу 24 января в главной комиссии в рейхстаге, есть ли у Тирпица основания к такому утверждению, не последовало никакого ответа. Все эти обстоятельства вызвали в народе огромное напряжение. К тому же о прощении Людендорфа об отставке в рабочих кругах говорят совсем не так, как в „отечественно-партийных“, которые хотят этим прощением создать в своей печати настроение: Генерал, в неустранимой нужности которого для руководства войсками убеждены широкие круги на-

шего народа, „грозит об'явить забастовку“, если его требования не будут приняты правительством. Если генерал, для проведения своих требований, готов об'явить забастовку, то кто же, говорят рабочие, осудит их за обращение к тому же средству? Сообщению, в котором говорилось, что Людendorff не подавал никакого прошения об отставке, никто не поверил. Ко всему изложенному присоединились еще известия о массовой забастовке в Австрии.

Обо всем этом зашла речь в главной комиссии рейхстага. Кроме консерваторов, все ораторы более или менее резко говорили о том, что условия, в частности созданные осадным положением, стали почти невыносимы. Социал-демократические ораторы настойчиво призывали правительство дать успокоение прямым заявлением о признании права народов на самоопределение и о непоколебимой готовности заключить мир на основах резолюции рейхстага от 19 июля 1917 года. Речь канцлера, в ответ на требования Вильсона, была неудовлетворительна. Депутат Науман особенно подчеркивал грозящие опасности и упомянул при этом о листовках с призывом к стачке, которые распространялись в стране.

Здесь уместно остановиться подробнее на двух из тех летучих листовок, о которых упоминалось в комиссии. В одном воззвании независимых, подписанном независимыми членами фракций рейхстага, изображается политическое положение, как оно представлялось независимым, а затем следуют слова:

„Если трудящееся население не проявит себя сейчас с должной силой, то может показаться, что оно согласно с происходящим вокруг, что массам германского народа еще не стало непосильно жуткое бремя войны... Нельзя терять времени: после

всего пережитого ужаса и всех перенесенных страданий, новое величайшее несчастье грозит нашему народу и всему человечеству. Только мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов может нас спасти от него. Настал час громко заговорить о таком мире. Слово за вами“.

В одном из анонимных листовок содержался открытый призыв к забастовке, а затем, между прочим говорилось.

„Люди, пользующиеся доверием на фабриках и заводах, должны всюду собираться и конституироваться в рабочие советы. Кроме того, в каждом предприятии избирается руководящий комитет. Позаботьтесь о том, чтобы руководители профессионального движения и правительственные социалисты ни в коем случае не избирались представителями. Долой бурней из рабочих собраний. Этим прислужникам и добровольным агентам правительства, этим смертельным врагам массовой забастовки среди борющихся рабочих делать нечего“.

Наше вступление в забастовочный комитет.

Рано утром 28 января 1918 года в президиуме социал-демократической партии стало известно, что во многих предприятиях в Берлине прекращена работа. Вскоре затем явились из ряда предприятий рабочие депутации, составленные из членов нашей партии, с информацией о быстро разраставшемся движении и с просьбой к президиуму назначить своих представителей в орган, руководящий забастовкой. По их мнению, это было очень важно для благополучного течения забастовки, нужность которой они признавали. Мы возражали, что забастовка возникла без всякого участия партии или профессиональных союзов; рабочие бастующих предприятий

уже избрали делегатов, которые конституировались в „Рабочий совет“, избравший забастовочный комитет и выдвинувший определенные политические требования. Ввиду этих фактов, никто не может претендовать на то, чтобы мы задним числом несли ответственность.

На вопрос рабочих, согласились ли бы мы послать представителей в забастовочный комитет, если бы собрание делегатов бастующих рабочих само нас о том просило, мы ответили положительно. Нам было важно удержать движение в организованных рамках и как можно скорее прекратить его, переговорив с правительством. Затем комиссия, избранная пришедшими к нам рабочими, отправилась на происходившее в это время собрание делегатов, чтобы внести предложение о привлечении в забастовочный комитет представителей социал-демократической партии. До внесения этого предложения, однородное предложение уже обсуждалось и было отклонено 198 голосами против 196. Незначительная разница в числе голосов и новое предложение побудили собрание делегатов снова открыть прения. Доверенное лицо социал-демократической партии обосновало предложение по существу и прибавило, что президиум партии готов послать представителей в забастовочный комитет, если собрание выскажется соответствующим образом. Депутат Ледебур ожесточенно возражал против предложения. Однако, его неоднократно прерывали с большим шумом. После этих двух речей прения закрыли. Голосование дало около 360 голосов за предложение и едва сорок голосов против.

В исполнительный комитет собрания делегатов, вошли, кроме избранных уже одиннадцати рабочих делегатов и трех (независимых) депутатов-Диттмана,

Гаазе и Ледебура, также три члена президиума социал-демократической партии: Браун, Эберг и Шейдеман. Вступление состоялось под заявленными социал-демократическими депутатами условием расширения комитета соответственно возросшим размерам стачки, т. е. реорганизации его на партийных началах, а также нового обсуждения уже предъявленных требований.

29 января были воспрещены все рабочие собрания, в том числе и собрания забастовщиков. Тотчас же по вступлении трех социал-демократов, которые не имели возможности высказаться о предъявленных бастующими требованиями ни по существу, ни с формальной стороны, перед исполнительным комитетом встал вопрос о том, как сделать возможным собрание бастующих рабочих. Мне поручили по телефону статс-секретаря внутренних дел Вальраффа переговорить с нами о воспрещении собраний и о свободе их, для того, чтобы бастующим рабочим была как можно скорее дана возможность обсудить общее положение и принять решения. Я должен был сообщить статс-секретарю, что предполагаемая депутация к нему будет, вероятно, состоять из двух депутатов, по одному от каждой фракции, и пяти рабочих, членов исполнительного комитета. Господин Вальрафф ответил по телефону, что готов принять членов рейхстага, но отнюдь не рабочих из забастовочного комитета. Я возражал против такого отношения, однако изъявил готовность сообщить комитету ответ статс-секретаря и добился его согласия во всяком случае в 12 часов утра быть готовым к беседе, которая могла, однако, и не состояться.

Исполнительный комитет отказался исключить рабочих и просил еще раз сказать статс-секретарю,

что в 12 часов к нему придут два депутата и двое рабочих, однако, лишь для того, чтобы сделать сообщение о воспрещении собраний.

Когда депутация явилась в министерство внутренних дел, господин Вальрафф передал ей через служителя, что готов принять членов рейхстага. Депутация ответила через того же служителя, что она может вести переговоры только в полном составе. Служитель вернулся с приглашением членам рейхстага перейти в комнату, где находились барон фон Штейн и генерал Шейх. Господин Вальрафф не отказался от своей позиции и тогда, когда мы, удалив служителя, передали ему через случайно пришедшего депутата Гизбертса, члена группы центра, несколько серьезно положение. В конце концов господин Вальрафф прислал нам директора департамента Дамана. Мы просили его еще раз определенно сказать господину Вальраффу, что депутация намерена не обсуждать с ним политические вопросы, а лишь сделать сообщение о последствиях воспрещения собраний. Все эти переговоры не привели, однако, ни к чему, так как Вальрафф снова просил передать нам, что может говорить только с народными представителями, а последние ответили, что не в состоянии говорить со статс-секретарем иначе, как при участии рабочих. 29 января, т. е. в тот же день, когда трое наших товарищей вступили в комитет, членам комитета было предложено подписать бумагу, представляющую приказ главноначальствующего президенту полиции. Содержание бумаги было следующее:

„Согласно № 29 „Форвертса“ от 29 января, для руководства текущей забастовкой избран комитет из представителей бастующих и членов обеих социал-демократических партий. В интересах общественной

безопасности за силою § 9 закона об осадном положении, настоящим запрещаю всякие собрания равно как и всякую дальнейшую деятельность комитета.

Ваше высочордие изволите немедленно сообщить настоящее членам забастовочного комитета, указав им в то же время на карательные постановления закона об осадном положении. Настоящим я воспрещаю также всякое новое объединение, которое могло бы образоваться для дальнейшего руководства забастовкой“.

(Подпись) *Кессель*.

Чиновники уголовной полиции собрали всех членов забастовочного комитета для прочтения им кессельского приказа и соответствующих карательных правил закона, а также, чтобы отобрать у каждого из нас следующую подписку: подписываюсь в том, что настоящая бумага сообщена мне сегодня—число—подпись.

Таким образом, первый президент германской республики Эберт, первый ее канцлер Бауэр и я, первый министр-президент, за год до занятия своих постов должны были удостоверить, что знаем о тяжелой каре, грозящей нам за участие в забастовке.

30 января не вышел и „Форвертс“, который был запрещен, пока происходили описанные выше события. В тот же день закрыли канцелярию дома профессиональных союзов. Таким образом рабочие не имели больше права собираться, исполнительный комитет был распущен, орган рабочей печати был закрыт. После безумных мер, принятых властями, особенно после глупого поведения Вальраффа, у рабочих не осталось никаких путей к соглашению. Никто не мог дать им совета, не подвергая себя опасности тяжелого наказания лишением свободы,

и рабочая газета не могла сказать ни слова о значении забастовки. Последствием было то, что большие массы рабочих собрались 31 января на улицах и площадях.

Полиция чинит надо мной насилие.

После того, как уголовная полиция сообщила нам названный выше приказ, за мною по пятам ходили сыщики, так что в первые часы я был лишен возможности встретиться с остальными членами забастовочного комитета, которым пришлось не лучше моего. Но 30 января, утром, мы собрались, ибо никто ни минуты не думал из-за угроз лишением свободы нарушить свои обязательства перед рабочими. Правда, собираться приходилось в погребах и других служебных помещениях отдаленных гостиниц.

31 января сотни тысяч мужчин и женщин, которым воспретили организованные собрания, были на улицах. Мы условились о местах, где будут выступать перед массами члены забастовочного комитета. Депутат Диттман, который сменил в качестве оратора товарища Эберта, был арестован и приговорен впоследствии к 5 годам заключения в крепости будто бы за призыв к забастовке. Еще прежде, чем я добрался до места, с которого должен был говорить, полицейские учинили надо мною грубейшее насилие. Так как остальные прохожие—в этом месте их было не более 20—25 человек—разбежались при виде полицейского отряда, который вынырнул из густого тумана, застилавшего временами все на расстоянии трех шагов, и с криками и угрозами перерезал улицу, то я оказался совершенно один перед двадцатью вооруженными до зубов героями.

Без малейшего к тому повода меня стали толкать и наступать мне на ноги. Начни я сопротивляться, я был бы арестован, попытайся я бежать, мне, вероятно, стали бы стрелять в спину. Поведение полиции в эти дни сделало мне совершенно понятной ненависть к „синим“.

Роль независимых и ограниченность правительства.

31 января, после беседы депутатов Шмидта (Берлин) и Бауэра (Бреслау) с статс-секретарем фон-Штейном о хозяйственных вопросах, по инициативе фон-Штейна и с нашего согласия состоялся разговор тех же депутатов с канцлером для выработки основ, на которых могло бы состояться соглашение. Канцлер из'явил готовность к переговорам, если, кроме депутатов обеих фракций, в них примет участие генеральная комиссия в качестве представительницы профессиональных союзов. Таким образом в переговорах могли участвовать и организованные в профессиональные союзы рабочие, причем вопрос об их участии или неучастии в забастовке не поднялся бы. Независимые решительно отклонили всякое привлечение генеральной комиссии. Заинтересованные лица, принадлежавшие к социал-демократической партии, не возражали против привлечения комиссии, для того, чтобы сделать возможными переговоры с участием самих бастовавших рабочих. Смешная „принципиальность“ независимых, не соглашавшихся ни за что на участие комиссии, сделала, к сожалению, невозможным прекращение забастовки в желательном нам порядке, который доставил бы нам всеобщий почет, а правительство заставил бы уважать рабочую дисциплину. Начались безотрадные попытки и

потуги. Такие или иные переговоры с правительством должны были, однако, начаться, если не хотели дать забастовке заглухнуть бесследно.

Следует подчеркнуть, что Генеральная комиссия профессиональных союзов публично заявила о своем нейтралитете в забастовочном движении, которое носило явно политический характер. Тогда несколько депутатов обеих социал-демократических фракций решили послать канцлеру следующую телеграмму:

„Нижеподписавшиеся депутаты и 5 должностных лиц профессиональных организаций, избранные представителями бастующих, просят принять их для объяснения по вопросу о праве собраний. Ответ просим дать депутату Эберту.

Эберт, Гаазе, Ледебур, Шейдеман“.

Правительство отклонило это предложение. Тогда представители независимых вместе с представителями социал-демократической партии решили предложить канцлеру комиссию для переговоров в следующем составе: Гаазе и Ледебур от независимых, Эберт и Бауэр от социал-демократической партии и трое рабочих от профессиональных союзов. Согласно этому предложению генеральная комиссия, не участвуя официально, была бы все же представлена одним из своих представителей, который вошел бы вместо меня в качестве члена рейхстага. Но и это предложение, после продолжительных переговоров между Эбертом и помощником статс-секретаря Радовицем, было отвергнуто канцлером. Он настаивал на том, чтобы вести переговоры не с представителями забастовочного комитета, а с представителями партий и профессиональных союзов. Потому он и не отступал от требования официального участия генеральной комиссии в переговорах.

Если уже решительное отклонение участия генеральной комиссии казалось нам мало понятным со стороны независимых, то еще больше были мы изумлены, когда в тот же день депутат Гаазе заявил канцлеру ходатайство о созыве заседания, с участием одних только членов рейхстага. Правда, переговоры с канцлером должны были иметь целью единственно создать возможность собрания делегатов бастующих рабочих. Как бы то ни было, — это необходимо заметить, — согласись независимые на участие генеральной комиссии, планомерные переговоры об общем положении были бы возможны, как предполагал канцлер, при участии депутатов рейхстага и бастующих рабочих.

Говорить с членами рейхстага, как того желал Гаазе, канцлер был готов. В беседе с канцлером участвовали: канцлер фон-Гертлинг, вице-канцлер фон-Пайер, статс-секретарь внутренних дел Вальдрафф, прусский министр внутренних дел Дреус; со стороны депутатов: Гаазе и Ледебур, Эберт и я. Гаазе заявил: необходимо дать рабочим возможность собрать своих делегатов для обсуждения вопроса о том, на каких условиях сможет быть окончена забастовка. Как забастовка может вообще прекратиться, если нельзя принять решения об ее прекращении? Ведь другого пути окончить забастовку вообще не существует.

Затем разговор зашел об истории возникновения и о значении забастовки. Конечный результат был следующий: правительство дало понять, что оно готово принять меры к допущению собрания делегатов, если депутаты могут гарантировать, что это собрание вынесет единственно постановление об окончании забастовки. Так как присутствовавшие 4 де-

путата такой гарантии, естественно, дать не могли, то и это заседание окончилось ничем.

Везде и всегда пробивать лбом стену—вот тактика независимых. Там, где необходимо действовать сдержанно, где нужна единая, хорошо взвешенная тактика, там Ледебур и ему подобные, чья разговорчивость и притязательность значительно превосходят опыт в рабочем движении, регулярно портят ситуацию.

Забастовка была тяжелым ударом для правительства и т. н. отечественной партии; но она могла бы быть ударом уничтожающим.

Как только начались забастовки, 30 января президиум социал-демократической партии собрал комитет партии, который был подробно обо всем информирован. Комитет единогласно принял следующую резолюцию:

I. Комитет партии констатирует, что нынешняя забастовка не направлена против обороны страны и не стремится к поддержке неприятельского империализма. Она порождена глубоким недовольством и вызвана продовольственными затруднениями и гнетом осадного положения. Реакционные выступления в прусской палате, направленные против прусской избирательной реформы, вызывающее поведение так называемой отечественной партии и неясная позиция правительства в вопросе о мире обострили это недовольство. Так как все советы и предложения социал-демократической партии оставались без внимания, то взрыв народного настроения стал неизбежен.

Вступление социал-демократических депутатов обеих фракций в забастовочный комитет давало полную гарантию тому, что движение пойдет организованным путем и будет закончено быстро, не при-

чинив вреда. При этом предполагалось, что правительство воздержится от насильственных мер и удовлетворит требования, которые считает справедливыми подавляющее большинство населения.

Вместо того, чтобы пойти этим путем, правительство, под ничтожным формальным предлогом отклонило переговоры с представителями бастующих рабочих. Точно также оно допустило, чтобы подчиненные ему органы выступили с прискорбными мерами подавления движения. Право собраний было совершенно уничтожено, „Форверте“ был запрещен, а в конце концов воспрещена всякая деятельность забастовочного комитета. Следствием этого является то, что забастовка, подобно взрыву, захватывает все новые группы и, чуждая какому бы то ни было регулированию и контролю, распространяется на все новые местности.

Ответственность за этот ход вещей падает на власти, которые перед началом забастовки и в течение ее упорно отказывались внять голосу разума и чья политика против желания населения ясно направлена была к насильственному миру.

Во все время войны социал-демократическая партия высказывалась бесповоротно за оборону страны. Интересы обороны страны ставятся, однако, под угрозу политической недалекости тех, кто же дает вести войну во имя затягивающих ее и не одобряемых народом целей; кто отказывает народу в обещанных ему правах и на всякий протест против ставшего невыносимым гнета отвечает усилением этого гнета. Поэтому ныне должны объединиться все силы для предотвращения рокового курса, в интересах самосохранения нашего народа и достижения скорого справедливого мира.

II. Комитет партии предлагает правительству определенно об'явить:

1. Более достаточное снабжение продовольствием путем из'ятия предметов продовольствия от производителей и торговых складов для справедливого распределения их между всеми классами населения.

2. Готовность в ближайшее время снять осадное положение, тотчас же отменить все постановления, ограничивающие право союзов и собраний, также, как и свободу слова.

3. Отмену милитаризации предприятий.

4. Готовность всеми находящимися в распоряжении правительства средствами обеспечить скорейшее введение всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права для Пруссии.

5. Готовность к общему миру без явных или скрытых аннексий и контрибуций на основе права самоопределения народов, осуществляемого на демократических началах.

Фракция рейхстага также единогласно одобрила поведение социал-демократических членов забастовочного комитета.

„Организованными путями“.

Резолюция комитета партии подчеркивает, что благодаря вступлению в забастовочный комитет социал-демократических членов, удалось удержать движение на организованных путях. Это совершенно правильно. Когда в отказе Вальраффа принять бастующих пред германскими рабочими с новою яркостью предстала вся ограниченность старого пруссачества, нужны были все хладнокровие и тщательная осторожность воспитанных в рабочем движении социал-демократических членов забастовочного комитета,

чтобы предотвратить слишком поспешные решения. В тесном кругу уже тогда выдвигались, в ответ на барскую позицию Вальраффа, проекты разрушения жизненно-необходимых предприятий. Мы, социал-демократы, восстали против этого со всею нашей решительностью, ибо мы не хотели, чтобы старики, больные, женщины и дети искупали глупость господина Вальраффа. Если январская забастовка не привела к катастрофе, то „правлящих“ того времени благодарить за это во всяком случае, не приходится.

Борьба за резолюцию о мире.

Предвестники парламентаризма.—«Уход канцлера облегчил бы мир».—«Обращение Матфея».—Штреземан все еще желает аннексии Курляндии.—Император «борется с собой». — Прием у главнокомандующего — «Современник Михаэлис».—Участие Людендорфа в выработке резолюции.—Как я это понимаю.

Предвестники парламентаризма.

Июльская резолюция рейхстага исходила из безусловно правильного представления, что инициатива мира должна перейти от правительства к народному представительству. Недостаточный кредит правительства, слабость которого с ясностью выступает в моем рассказе о том, как обострение подводной войны было проведено против воли канцлера и его советников, не составлял секрета и за границей. За границей знали так же хорошо, как и в стране, что в конечном итоге политику делает главное командование. Поэтому было только логично, что одновременно с решением рейхстага взять в свои руки борьбу за мир, у народных представителей сложился взгляд, что борьба эта будет бесплодна, если в ведомствах, имеющих решающее значение, останутся прежние люди. Против главного командования нужны были другие силы. Отсюда связь

внешней политики с внутренней „чисткой“, которая также логически должна была перейти в стремление заменить „императорских прислужников“, людьми, обеспеченными парламентским доверием, т. е. в стремление на место призрачно конституционной системы поставить парламентаризм. Потому что правильный выбор людей решал все. Обращаясь взором назад, мы не понимаем борьбы за резолюцию и нам кажется, что она подрывала внешне политическое значение резолюции. То и другое, конечно, правильно. Но исторически на борьбу за резолюцию надо смотреть, как на первые шаги утверждавшего себя парламентаризма. Вера в собственные силы не была еще достаточно сильна, особенно прогрессисты все еще искали одобрения правительства, в которое должен был вступить их товарищ по партии фон-Пайэр. Национал-либералы никак не могли расстаться с надеждой на аннексию и, несмотря на признание Штреземана, что их прежние желания невозможны, были способны только на чисто национал-либеральное решение—предоставить членам своей фракции свободу голосования. Центр руководствовался, главным образом, тактическими соображениями и оставался до конца неопределенной величиной. При таком соотношении сил принятие наперекор всему резолюции о мире служит доказательством большого распространения уже в то время сознания крайне тяжелого положения страны и логически действенной силы социал-демократической формулировки целей войны. Буржуазная среда приняла концепцию моей партии. То, что резолюция осталась в конце концов безрезультатной, было вызвано самыми условиями ее принятия. В значительной части, однако, безуспешность ее порождена ее обессилением со стороны „современника Михаэ-

лиса"—дальнейшая личная его характеристика есть смертный приговор вильгельмовой форме правления—и последующим направлением правительственной политики. И изображу борьбу за резолюцию во всех подробностях, потому что она, несмотря на все, является энергичным предвестником парламентаризма, свидетельствует о планомерно-руководящей роли социал-демократии и в то же время говорит о безнадежной беспомощности тогдашних правящих кругов, которые, не видя смертельной угрозы Германии, знали одну только точку зрения: что скажут император и Людендорф?

В июне все почувствовали, что произойдет что-то особенное. Как пастор Занг у Бьернсона, ждавший чуда, в главной комиссии рейхстага, где в то время была сосредоточена политическая жизнь, депутаты ждали, с часу на час, какой-нибудь сенсации. Заявления, сделанные за эти дни Эбертом и Носке, нашли себе отзвук даже в буржуазных кругах. Время потрясающих изречений, которыми еще так недавно блистали даже прогрессисты, прошло безвозвратно. Конституционная комиссия не дала еще, правда, никаких результатов и даже вызвала величайшие резкости со стороны правительства, однако, в прениях в этой комиссии были выдвинуты требования—отнюдь не только социал-демократией—которые еще недавно почитались бы государственной изменой и уж во всяком случае были бы сочтены революционными. На этот период, период внешне-политических забот и внутри-политической борьбы, пришлись первые беседы с канцлером и вице-канцлером о предстоящем заседании рейхстага, центральным пунктом которого были опять военные кредиты. Не было ни какого сомнения, что на этот раз после стольких разочарований народа и стольких ошибок

правительства, положительное голосование социал-демократии могло последовать лишь после совершенно определенных обещаний. Последние могли состоять только в ясной формулировке целей войны, и таком же ясном обещании всеобщего избирательного права для Пруссии, которое все еще было под сомнением.

„Уход канцлера облегчил бы мир“.

30 июня Гельферих пригласил к себе лидеров фракций. Присутствовали Ваншаффе, помощники статс-секретарей Рихтер и Левальд и от с. д. фракции Давид, Эберт и я. Гельферих хотел бы знать, как мы представляем себе ход заседания рейхстага и чего от него ждем. Я взял слово первым и сказал ему, чего мы желаем, или, что то же, требуем: ясных целей войны (наших целей), согласия на изменение конституции, правительственной инициативы в избирательном вопросе для склонения сопротивляющихся в центре. Гельферих старался уменьшить значение всех вопросов, которое мы считали существенными для нашего голосования. Он явно не хотел меня понимать, когда я об'яснил ему, что мне наплевать на все решения, принятые до сих пор в конституционной комиссии, потому что сильный парламент не стал бы даже обсуждать этого вздора, но что тем не менее, из политических соображений, я придаю большое значение согласию правительства и отставке его в случае политического расхождения с рейхстагом. Давид энергично поддержал меня. Эберт тоже сражался мужественно, особенно за цели войны. Но когда, в связи с вопросом о горячо желанном мире, я совершенно спокойно заметил: „уход канцлера, которого, я, конечно, высоко ценю, тоже сильно облегчил бы мир, я предполагаю, что на

смену ему придет лучший"—то представители правительства посмотрели на меня так, как если бы через зал прошло привидение. Никто не произнес ни звука, потому что на этот раз они поняли, что до существу мое замечание означало: „мы все должны уступить место людям „без прошлого“ в этой войне“. Директору департамента, доктору Левальду, которого я ценю, как огромную рабочую силу, я сказал в глаза, что он тормозит работы конституционной комиссии. Гельфериху я заявил: „Если у вас есть другой, пожалуйста не посылайте нам Левальда“. Кроме того Давид блестяще отчитал этих господ. Мне очень нравится, что лицом к лицу он всегда так энергичен с этой кампанией, тогда как во фракции всегда заставляет быть с ними справедливее, чем они того заслуживают.

1 июля 1917 г. В „Форвертсе“ появляется моя статья: „Государство да творит право“. Я предвижу, что она поднимет большой шум, именно своим требованием: равные права. От имени фон-Пайэра меня по телефону пригласили к нему в рейхстаг. Он желал переговорить со мной о тактике, которой теперь надлежало следовать. Мы были во многих вопросах совсем одного мнения. К сожалению, только не в главном вопросе. Как поскорее и получше провести прусское избирательное право? Чтобы дело обстояло так, как я его изобразил в сегодняшней статье в „Форвертсе“, которой он еще не читал, но которую я изложил ему, этого он не думает. Это было бы насильем над союзными государствами. Точно так же не согласен он с тем, чтобы принудить канцлера к формуле без аннексий и контрибуций. Когда я сказал ему, что канцер произвел на меня впечатление, будто в сущности он совершенно согласен с этими основами мира и только выражает сомнения, умно ли

провозгласить эту формулу, он заметил: „Если канцлер захочет это сказать, я, конечно, ничего не буду иметь против, но в том, что это умно, я тогда буду сомневаться не меньше, чем теперь“. Он осуждал пессимизм канцлера и возлагал большие надежды на подводную войну. Он совершенно согласен был с нами, когда мы отвергли подводную войну. Но теперь неправильно держать себя так, как если бы она совсем не принесла пользы. Некоторые результаты она уже дала. Я: „Да, первым результатом было объявление войны Америкой“. Он: „Ну, да, это ведь мы предвидели“. С половины одиннадцатого мы у канцлера. Налицо все-статс секретари до Лиеско включительно. Канцлер явно ничего не добился в главной квартире, потому, что он опять держится „твердо“. Он устраняет вопрос о публичном заявлении формул, которых мы у него требовали. Он сделал для достижения мира все, за что мог взять на себя ответственность, но что ответили ему противники? Ораторы других фракций (кроме независимых, были представлены все фракции) говорили однообразно. На речи Давида и мою—Давид говорил целый час—никто не ответил по существу. Что касается подводной войны, то, казалось, никто не хочет больше считаться ее зачинщиком, положились, дескать, на цифровые указания правительства (Капелле, Гельферих). Все заседание прошло очень уныло.

Заседание продолжалось с половины одиннадцатого ровно до четырех часов. Так как я, кроме скудного завтрака (суррогат кофе, хлеб и искусственный мед) ничего не ел, то почти лишился чувств от голода.

После краткого перерыва, который мы использовали для обеда, Эберт и я в 5 часов пришли к

Гельфериху, в министерство внутренних дел. Там был собран небольшой круг лиц, с исключением поляков и эльзасцев. Обсуждается, главным образом, постановка пленарного заседания.

Гельферих поднимает вопрос о заявлении „по поводу Эльзаса-Лотарингии, как несомненно немецкой страны“. Конечно, такое заявление имело бы смысл лишь при условии присоединения к нему эльзасцев. А мы заявили: „Для нас это имеет смысл лишь при одновременном заявлении, что Эльзас-Лотарингия становится самостоятельным союзным государством“. Лица вытягиваются—и дело кончается ничем. Заседание кончается после 8 часов. Главная комиссия. То был день, который принес „нападение Эрцбергера“. Для нас, хорошо знавших подвижность Эрцбергера, в этом не было ничего неожиданного. Наши настойчиво повторявшиеся требования указывают на то, что отцом резолюции о мире он не был, но большая заслуга Эрцбергера в том, что он был первым буржуазным депутатом, который решительно и открыто встал, наконец, на точку зрения социал-демократов в вопросе о мире.

„Обращение Матфея“.

6-го июля 1914 г. Вчерашний день относится к числу самых значительных, какие были пережиты в главной комиссии за время войны. Эрцбергер присоединился к точке зрения, которую отстаиваем я и мои друзья: мы должны постараться поскорее заключить мир. Когда Эрцбергер делал главной комиссии свое ошеломляющее признание и предлагал, чтобы рейхстаг декларацией засвидетельствовал перед всем миром, что он отклоняет всякие завоевательные цели и стоит на точке зрения 4-го августа

1914 г., я сидел еще в конституционной комиссии. Вследствие бурных прений в этой комиссии я прервал заседание, чтобы выиграть время для переговоров (по поводу заявления 18) и пришел в главную комиссию в тот момент, когда Эрцбергер кончил свою речь. Мой друг Вендель, который был членом комиссии, вскочил, чтобы уступить мне свое место. Так из борьбы за внутренние дела я сразу попал в сражение по большому вопросу об окончании войны. После несущественных заявлений заседание главной комиссии было также отложено. В течение дня было совещание представителей социал-демократов, центра, прогрессистов и национал-либералов. Согласились на том, что надо попытаться провести общую резолюцию о мире.

7 июля 1914 г. Хочу занести следующее о вчерашнем между фракционным заседании. Оно состоялось после обеда, в верхнем этаже, в комнате № 12. Присутствовали: Шпан, Эрцбергер, Мюллер-Фульда, Ференбах, фон-Пайэр, Мюллер-Мейнинген, Гаусман, Готгейн, Эберт, Давид, Зюдекум, Шейдеман, фон-Рихтгофен, д-р Функ, Шифер, Штреземан, фон-Кальер.—Эрцбергер еще раз говорил о своем предложении: готовность к миру, как 4-го августа 1914 г., и никакой иной цели, кроме обороны. Фон-Рихтгофен подчеркивает, что обсуждение этого вопроса невозможно без того, чтобы не наступили перемены в составе правительства. Заграница откажется от заключения мира с Бетман-Гольвегом и Циммерманом.—Эрцбергер не желает об этом высказываться.—Штреземан: „Мы правомочны потребовать и изменений в составе правительства“.—Зюдекум того же мнения. Готгейн тоже.—Эрцбергер характеризует двусмысленное отношение германского правительства к Вильсону, который в конце

прошлого года готов был взять на себя активное мирное посредничество. В конце концов Вильсон положительно выбросил Бернсторфа.—В дальнейшем фон-Найер, Эрцбергер и фон-Рихтгофен говорили об изменениях в составе правительства.—Давид требовал, в полном согласии с настроением фракции, ясного заявления, подобно формулированному русским советом рабочих и солдатских депутатов.—Калькер желает, чтобы общая декларация коснулась и Эльзас-Лотарингии. Надо потребовать, чтобы Эльзас-Лотарингия была автономным союзным государством в составе империи.

Штреземан все еще за аннексию Курляндии.

Штреземан остается при своей основной концепции о фландрском побережье, Курляндии и т. д. Он отказывается, однако, от соответствующих планов, потому что не верит больше в их осуществление. Впрочем, само собою разумеется, что ни он, ни кто-либо другой — поскольку он не стоит на почве декларации — не может вступить в парламентарное министерство. Теперь существует действительно опасность, что все нейтральные державы объединятся против нас, потому что их принудит к этому подводная война. Декларация, подобная проектируемой, кажется ему несвоевременной, и даже опасной в виду русского наступления. Это последнее дало успехи, вызвавшие огромное торжество в Париже. Он хотел бы знать, как социал-демократы смотрят на вопрос: можем ли мы на началах соглашения получить Курляндию?—Давид отослал его к нашему стокгольмскому меморандуму.—Фон-Калькер сказал: мы можем объявлять, что хотим, за граница не поверит, если мы не произведем личных перемен в правительстве.

8 июля 1917 г. Вчера с утра до ночи заседания. После обеда междуфракционное заседание. Мы договариваемся об общей декларации и достигаем полного единения по вопросу об ее редакции. Тогда как в предшествующем обсуждении говорилось только о переменах в составе правительства, теперь из этого выросла парламентарная система. Разумеется, я за нее, однако опасаясь, что немедленное проведение ее со всеми последствиями невозможно. Заседание назначается на воскресенье в 12 часов, потому что национал-либералам нужно время на подготовку своего „падения“, если оно вообще возможно в вопросе о целях войны.

9 июля 1917 г. Вчерашний день был снова очень богат событиями. Выяснилось, что представители национал-либералов действовали до сих пор не по поручению фракции, а на собственный страх. Национал-либералы должны принять решение 9-го июля. Эрцбергер оказался в состоянии сообщить следующее: военный министр фон-Штейн по телефону вызвал Гинденбурга и Людендорфа в Берлин. Их присутствие необходимо-де, „потому что здесь происходят изумительные вещи“. Бетман-Гольвег мигом пронюхал об этом. Так как император тоже приехал в Берлин, — Гольвег распорядился перехватить его на вокзале и немедленно направился к нему. Тем самым он победил. Он спросил императора, что нужно в Берлине обоим военачальникам; у рейхстага нет разногласий с военной администрацией, что же касается политического расхождения, что это дело его, канцлера, а не тех двоих.—Вслед за этим император отослал Гинденбурга и Людендорфа обратно. Кстати: Гинденбург и Людендорф обратились к нему, Эрцбергеру, и довели до его сведения, что они охотно переговорили бы с лидерами фракций. Для избежания споров о ком-

истенции, желательнее, может быть, устроить эти переговоры не в рейхстаге, а в *помещении генерального штаба*.—После этого в бюро партии пришел офицер и обратился к Эберту с вопросом о том, не желает ли он вместе со мной поговорить с Людендорфом. Эберт обещал и телеграфировал мне. Вечером мы встретились в отеле „Эксельсиор“, Гинденбург и Людендорф уже уехали.

10 июля 1917 г. В главной комиссии Штреземан жестоко напал на канцлера. Канцлер отвечал необычайно находчиво. Если думают, что он, канцлер, мешает, пусть это скажут прямо. В остальном: внутренний строй не может быть организован наподобие английского или французского (парламентаризация); это очень затруднено федеративным устройством государства. Давид снова говорил очень хорошо, хотя ничего нового уже нельзя было сказать.—В виду интереса заседания я единолично отменил конституционную комиссию, назначенную на 10 часов.—После обеда снова междуфракционное совещание. Мирные драки при обработке декларации.—Национал-либералы сидят и совещаются до 6-ти часов.—Они отклоняют участие. Им важно прежде всего убрать Бетман-Гольвега, остальное им пока безразлично.

Император „борется с собой“.

11 июля 1917 г., 9 часов утра. Главная комиссия. Эберт желает получить от канцлера справку о вчерашнем заседании коронного совета.—Канцлер не может дать ответа. Эберт предлагает отложить заседание. Единогласно принимается. Заседание конституционной комиссии, назначенное на 10 часов, я тоже отложил „для демонстрации“, как я сказал недо-

гадливый людям, ибо положение еще не ясно ни правительству, ни за его пределами.—На самом деле отложению заседания предшествовала следующая сцена: Гельферих просил меня не вести заседания, ибо император „борется с собой“. Сегодня или завтра будет принято важное решение об избирательном праве. Но если к императору, который, может быть собирается в 12 часов сделать декларацию о равном избирательном праве, в 11 пристанут с резолюцией конституционной комиссии, то это может оказаться невосможной величиной, которой нам не следует оставлять без внимания.—Очевидно Гельферих и Левальд уже оповестили буржуазных депутатов, потому что ко мне пристают со всех сторон.—Наши товарищи согласны.—В течение дня непрерывные заседания. В половине четвертого снова междуфракционное совещание. Снова мудрят над текстом декларации. Интересна была позиция национал-либералов. Пааше, кажется, возвращался к вопросу о министерских постах. Мы подвергли его пытке. Министром может стать только тот, кто без оговорок примет нашу декларацию. Он стал тащить за собой Юнга, фон-Калькера и фон-Рихтгофена, чтобы вновь втянуть их в национал-либеральную фракцию. Напрасно. Представители тяжелой промышленности желали бы иметь представителя в министерстве, но не желали бы, как довольно откровенно сказал Пааше, „шейдемановского мира“. На семь часов канцлер пригласил к себе Шпана, Пайэра, Эберта и Шифера.—Эберт доложил потом во фракции: император все еще не может прийти к определенному решению. Так как при введении парламентаризма ставится вопрос о будущем императорской власти, то он должен переговорить с кронпринцем, которого вызвали по телеграфу. Канцлер за равное избирательное право, однако не может

рекомендовать императору парламентарной системы, в виду огромных трудностей, стоящих на ее пути (союз государств, конституция и т. д.). Он готов на приглашение некоторых министров из состава парламента, а также на образование своего рода совещательного государственного совета из парламентариев, который привлекался бы к обсуждению важных вопросов. Но дальше этого идти он не может. В вопросе о целях войны он сумеет сообразоваться с пожеланиями большинства рейхстага и т. д.

12 июля 1917 года. В печати возвещают равное избирательное право для Пруссии.—Вчера в сенаторен-конвенте пререкания с Вестарпом, который вдруг потребовал разрешения вопроса о кредитах. В пленуме повторилось то же самое. После пленума между фракционное совещание. Начинается с доклада Ференбаха о разговоре с Ваншаффе. Ференбах записал перед Ваншаффе следующую точку зрения: скорейшее привлечение парламентариев на министерские посты и в качестве статс-секретарей.—Снова появляются на сцене национал-либералы: Шифер, Юнг, Рихтгофен. Они желают еще раз переговорить. Шифер, которому дают понять, что существенных изменений в декларации внести уже нельзя, требует от центра ответа, остается ли он при своем решении участвовать в декларации лишь при условии участия в ней национал-либералов. Центр, который действительно принял такое решение, для того, чтобы все время оказывать давление на национал-либералов, начинает их пытаться. Ференбах говорит: „Да, решение пока неизменно“. Шифер: „Мы будем считать, что решение остается неизменным. Это имеет величайшее значение для нашей фракции“.—Ференбах: „Я не хочу предсказывать, но думаю, что при нынешнем положении вещей, моя фракция отка-

жется от своего решения“. Шифер, которого я очень ценю, как умного человека, увел обоих своих товарищей, чтобы еще раз попытаться счастья в национал-либеральной фракции. Около часа спустя явился Рихтгофен с официальным сообщением, что его фракция отклоняет участие в декларации, но оставляет за своими членами свободу голосования. Затем, открываются прения „о парламентаризации“. Долгое теоретическое блуждание от временного совещательного органа при правительстве к статс-секретарям без портфелей (предложение Давида). Я между, прочим, сказал: мы не должны дебатировать и теоретизировать, как в 1848 г. в церкви св. Павла. Чего мы в конечном итоге хотим, мы знаем: последовательного проведения парламентарной системы. Но как ее добиться? Восемь дней назад никто из нас об этом не думал, теперь же добрались до вопроса о парламентаризме. Мы требовали совершенно определенно: ясности в формулировке целей войны и равного избирательного права в Пруссии. Когда мы стоворились об этих требованиях, то в связи с вопросом о целях войны встал другой: возможно ли добиться надлежащей формулировки целей от нынешнего правительства? Нет, некоторые члены его должны уйти и уступить место другим людям. Из необходимости заменить, сообразуясь с настроением заграницей, двух-трех человек другими, выросла вдруг парламентарная система. Из прений выяснились как огромные трудности, противостоящие ей у нас, так и невозможность преодоления в течение недели или двух всех законных и личных препятствий против ее осуществления. Как бы то ни было, мы должны, однако, использовать положение и как можно скорее создать временные органы на период до введения парламентаризма. Совещательный совет? Нет. Про-

визориум, который предполагают Давид и Пайэр? В крайнем случае. Но существеннее всего в настоящий момент призвание новых людей для создания определенного впечатления заграничией. Циммерман должен уйти и Капелле тоже. Новые люди должны быть приглашены с согласия рейхстага. Затем далее: канцлер является; повидимому, противником парламентаризма. Для успешной борьбы с ним, мы должны точно знать все трудности и мнимо-непреодолимые препятствия, о которых говорят. Очень важна точка зрения императора, в виду огромной власти, которая ему принадлежит. Смотри по информации, которая ему будет даваться, он решит так или иначе; это прямо рок. Ибо кто его информирует? Говорят, что Бетман-Гольвег не дает никому подойти к нему. А между тем императору надо прямо сказать, что происходит в стране. Он должен быть осведомлен о нуждах и потребностях. Тогда он не будет, может быть, противиться добровольному предоставлению того, что ему в скором времени все равно придется дать. Я предлагаю послать фон-Пайэра к императору для того, чтобы он сказал ему от нашего имени чистую правду. В общем: тотчас же—новых людей, разумеется, также и из среды парламента, затем конституционная комиссия должна внести свои предположения, затем через несколько недель, если все пойдет гладко, работа полным ходом. В несколько недель мы ничего не потеряем; мы используем их для основательной подготовки. Наша власть возрастет, а не уменьшится. Чем больше становится нужда, тем больше становится и власть рейхстага, за счет власти правительства. Все согласилось с моими предложениями.

Прием у главнокомандующего.

14 июля 1917 г. О событиях последних дней я могу рассказать только в общих чертах. Вчера утром отложили заседание главной комиссии, потом собрался сеньорен-конвент, потом пленум. Затем совет рабочих и солдатских депутатов, как мы шутя называем совещания представителей партий большинства. Мы еще раз стараемся придать бодрости членам прогрессивной народной партии на случай приема у главнокомандующего. Около половины пятого в нашу комнату входит тайный советник Юнгеим и приглашает нас к Гинденбургу: „в пять часов г.г. прогрессисты, в 5¹/₄ представители центра, в 5¹/₂ социал демократы“. Раздается взрыв хохота. Затем со всею серьезностью обсуждается, не отказаться ли нам от такого „военного приема“. Исходя из предположения, что ограничение нас во времени исходит не от генерала, мы заявляем, что готовы идти в генеральный штаб. Первыми идут Пайер и Фишебек. Вскоре после них Эрцбергер и Мейер-Кауфбейрен. Затем идем Эберт и я. Мы идем заранее, чтобы информироваться у Пайера и Фишбека, пока будут выслушивать Эрцбергера и Мейера. Но оказалось, что пришлось просидеть с Эрцбергом и Мейером в большой приемной генерального штаба около 40 минут, так как прием прогрессистов продолжался 40 минут. Дежурный офицер несколько раз приносил нам извинения. В конце концов нас спросили, не желаем ли мы войти четвером. С удовольствием!—Гинденбург и Людендорф, у которых был еще какой-то полковник Гаарбаум, приняли нас с величайшей любезностью. Мы обменялись крепкими рукопожатиями и посмотрели друг другу прямо в глаза. В углу сидели Гельферих и Ваншаффе. На стенах и на столах

карты.—Гинденбург: „Я думаю, г.г., что вы интересуетесь положением на фронте? Людендорф, дайте сведения“. Людендорф указал место, где русское наступление оттеснило австрийцев. Силы русской армии не прежние. Если же она, несмотря на это, достигла некоторых успехов, то я скажу вам конфиденциально, почему: против нее стояли австрийцы, т. е. славянские войска с неудачным начальником во главе. Начальник этот теперь уже отозван. На стороне русских сражались перебежавшие раньше австрийские славяне. Кстати, расстояние, на которое русские продвинулись, так незначительно, что его едва можно отметить на карте.—На Западе мы держимся твердо. Американцев не боимся. Они дадут летательные аппараты и летчиков, для перевозки же значительного числа войск вряд ли найдется тоннаж. Пока они смогут прийти, эвентуально, в марте 1918 г., подводные лодки, можно надеяться, создадут в Англии готовность к миру. Людендорф проявлял абсолютную твердость, но исходил, к моему удивлению, из предположения, что война продлится еще добрый год. Эрцбергер предложил несколько незначительных вопросов о снарядах, а затем вступил в разговор я. Я обратился сразу к заявлениям Людендорфа. Подумали ли он и Гинденбург о том, что происходит дома? Рабочие на фабриках ежедневно сотнями лишаются чувств от голода. Разносчицы писем падают в обморок на лестницах. Голод, нужда, скорбь по погибшим, негодование перед пангерманистскими целями войны, никаких видов на ее окончание; *summa summaum*: отчаяние, которое превращается в возмущение. Затем я обосновал декларацию о целях войны, предназначенную для рейхстага, не сказав, однако, что речь идет о такой декларации, и указал на ее значение за границей, затем в России

и внутри страны. Я говорил около 20 минут. Внимательнее всего слушали, как мне казалось, Людендорф и Гинденбург. Когда я кончил свою речь, заговорил Гинденбург: мои слова произвели на него большое впечатление, но о том, чтобы все с математической точностью оставалось так, как было, нет ведь и речи. Конечно, были выдвинуты нелепые цели войны. Например: мы должны за собою сохранить земли, которых еще даже не завоевали.— В том же духе говорил Людендорф. Затем я сделал дополнение к моей речи. Декларация, о которой оба упомянули, оставляет, сказал я, достаточно простора „всякому разумному соглашению“. Всякое же насильственное расширение территории должно быть решительно отвергнуто.—Людендорф: „Подумайте об Аахене, в случае, если мы не обеспечим себя в Бельгии!“ Затем Людендорф и Гинденбург посоветовали сделать декларацию „позитивнее“. Внутри страны была бы полезна, по их мнению, и наша редакция, но за границей? Нет! Там заговорили бы опять о слабости. Поэтому нужна более „позитивная форма“. Затем—разговор о подводной войне. Людендорф не соглашается с исчислением мирового тоннажа, сделанным Эрцбергером. Гельферих же придает ему решающее значение. Когда мы уходили, Гельферих сказал мне: „Итак, мы еще переговорим о декларации“? Я: „Нет, ваше превосходительство, больше о ней говорить нечего“.—Мы расстались с крепкими рукопожатиями в 7 часов, после разговора в час с четвертью. Гинденбург вовсе не произвел на меня сильного впечатления. Он выглядит моложе и не так высок ростом, как я представлял себе. Манерою говорить он напоминает Паула Зингера. Гинденбург обошелся с нами, как со старыми знакомыми, в нем нет и следа рисовки. Пре-

красный тип военного.—Людендорф—крепкий, здоровый, малый, блондин со светлыми голубыми глазами. Он был весь поглощен разговором и старался тотчас же воспринять всякую услышанную мысль. Без сомнения Людендорф значительнее Гинденбурга.— Когда мы вернулись в приемную, то там сидели остальные депутаты: Шифлер, Брун, фон-Гейденбрант, фон-Вестарп и т. д. и т. д.—Мы тотчас же пошли в рейхстаг, чтобы там, как было условлено, возобновить совещание. Вследствие затянувшейся беседы с генералами, мы пришли вместо шести часов в семь с половиною, Пайера и Фишбека не было. Эрицбергеру нужно было в свою фракцию. Мы ушли от Гинденбурга под впечатлением, что он, хотя и не убежден, а, может быть даже неприятно задет резолюцией, тем не менее с нею примирился. Поэтому мы без дальнейших сомнений решили ее опубликовать. Зюдекум должен был информировать агентство Вольфа. Я сообщил текст резолюции „Форвертсу“, так как знал, что в виду раннего закрытия редакции сообщение агентства придет слишком поздно. Ночью меня разбудил телефонный звонок. Телефонировал Зюдекум: Гельферих и Ваншаффе заявили протест против опубликования резолюции, так как мы условились возобновить переговоры. Я стал решительно оспаривать это и настаивать на опубликовании. Но Зюдекум, повидимому, пошел уже слишком далеко в своих обещаниях. Ибо он высказывал различные сомнения. Если это верно, говорил он, что Гинденбург и Людендорф возражали против текста резолюции, то нам не следует доводить дело до разрыва и т. д. Я: „Что до меня, то я вообще не вправе приостановить опубликование. Если ты будешь об этом говорить с другими, то я прошу тебя ясно сказать, что я за опубликование“. Зюде-

кум собирался еще говорить с Давидом, попытаться снестись с прогрессистами, которые—он знал—сидят у Лютера и Вегнера.

15 июля 1917 г. Вчера утром, в 10 часов, было междуфракционное совещание. Пайер в ярости за то, что опубликование резолюции было решено без него. Мы пытались его успокоить. Как сообщают, Людендорф предложил агентству Вольфа не печатать резолюцию. Но так как я сообщил ее „Форвертсу“, то там она появилась. И очень хорошо!—Зюдекум сообщил о событиях прошлой ночи следующее: в 11 часов ночи его вызвал по телефону Рицлер, который изумленно спросил, как агентство Вольфа может на себя брать опубликование резолюции. Как ему известно, переговоры еще не закончены и должны завтра возобновиться.—Зюдекум ответил, что он ничего не знает о возобновлении переговоров и не имеет полномочия приостановить опубликование резолюции. На это Рицлер заявил, что он утверждает, что было прямо постановлено переговорить еще раз на следующий день. Зюдекум сказал, что он соберет сведения, и позвонил к Шейдеману. Шейдеман определенно отказался сделать что бы то ни было для приостановки опубликования резолюции, так как соглашения, о котором говорил Рицлер, не существует. Тогда Зюдекум позвонил по телефону Давиду. После долгого разговора Давид посоветовал ему обратиться к Людендорфу, чтобы сговориться с ним. Зюдекум, однако, заметил, что это создаст трудное положение: если Людендорф распорядится, то резолюция опубликована не будет? Тем не менее в неутомимости своей Зюдекум обратился ночью к Людендорфу. Следствием этого явилось то, что Людендорф счел правильным приостановить опубликование резолюции, так как Гельферих желает еще

раз пригласить депутатов, бывших вчера у Гинденбурга и Людендорфа, на совещание в субботу, в пять часов. Гинденбург считал очень важным, чтобы резолюция не была опубликована в предпологавшейся форме. В этой форме главное командование не могло бы ее подписать.—Эрцбергер заявил, что он ничего не знает о новых переговорах, Гинденбург и Людендорф лишь выразили желание, чтобы резолюция была составлена позитивнее. Сегодня утром оба генерала пригласили его, Эрцбергера, для беседы с ними. Эрцбергер и в этот раз не вынес такого впечатления, чтобы генералы были сколько-нибудь ущемлены или задеты.—Я изобразил ход вещей и несколько раз подчеркнул, что о новых переговорах не может быть и речи, поскольку Гельферих ссылается на несуществующее вчерашнее соглашение. Тогда Зюдекум сослался на Ваншаффе. Последний сказал ему ночью, что Гельферих уже разослал новые приглашения партиям большинства. Брун сказал, что он думает, что по положению вещей можно попытаться еще раз снестись с правительством, ибо ему кажется, что не исключена возможность сговориться. Возражая фон-Пайеру, Давид сказал: „Мы были вчера вечером прямо вынуждены постановить опубликование резолюции, после того как ее опубликовали, к тому же не в последней ее редакции, „Лейпцигские Последние Известия“, 8-ми часовая вечерняя газета, и „Военная Газета“.

Давид — против новых переговоров. Необходимо возможно скорее официально опубликовать резолюцию. Предлагают даже написать письмо Гельфериху с указанием, что об'единенные партии безусловно останутся на точке зрения резолюции, кто бы ни занимал канцлерский пост. Это письмо, по мысли предлагавших, Гельферих должен был сообщить импе-

ратору. Составление этого письма было поручено Зюдекуму. Пайер должен был его подписать от имени об'единенных партий. По поручению Зюдекума письмо напечатали в самом рейхстаге. Позднее отсылка его оказалась излишней, и предназначенное Гельфериху письмо, вместе с копией, вклеено в мой дневник. Зюдекум вручил мне оба документа со словами: „Спрячь это для своего дневника, для того, чтобы потом можно было доказать, что отправка подобного письма была решена, и оно существует в оригинале, хотя и без подписей“. — Вот текст письма: „Берлин, 13 июля 1917 г. Ваше превосходительство. Ниженодписавшиеся партии препровождают вам прилагаемую при сем резолюцию, в качестве формулы целей войны, которую названные партии решили защищать перед всяким лицом, которое может занять пост имперского канцлера. Партии ходатайствуют перед Вашим превосходительством о безотлагательном сообщении резолюции его величеству императору. Инициаторы резолюции намерены присоединить к ней особое заявление о заслугах армии и флота. Следующие фракции рейхстага образуют большинство: фракция центра, фракция прогрессивной народной партии, социал-демократическая фракция, некоторые члены немецкой фракции и др. члены рейхстага. С совершенным почтением, за об'единенные партии... Его превосходительству г-ну представителю имперского канцлера д-ру Гельфериху“.

Участие Людендорфа в выработке резолюции.

Новый канцлер! Старый исчез почти незаметно, в суете последних тревожных дней. Почему? Даже после дрящейся месяцы борьбы, которую всеми сред-

С вами клеветы и очернения вели против канцлера пангерманисты, тщетно спрашиваешь себя: что послужило непосредственным поводом его падения? Несколько позднее, я говорил об этом с тайным советником Ридлером. Он считал интересным то, что Бетман должен был уйти не потому, что он ничего не достиг, а наоборот. Его отставка вызвана тем, что он добился довольно многого из того, чего тогда вообще можно было добиться. После пасхальной декларации об избирательном праве было очень трудно вырвать у императора равное избирательное право. Но Бетман-Гольвег неутомимо добился свое и в конце концов победил, добившись второй декларации. Он провел соответствующее решение в прусском министерстве и заставил уйти строптивых министров. Его нельзя упрекнуть ни в недостатке энергии, ни в недостатке успеха. Но именно поэтому консерваторы и пангерманисты видели в нем большую опасность и приложили все усилия к тому, чтобы сбросить его. Они довели Гинденбурга и Людендорфа до ультиматума: либо он, либо мы. Это решило судьбу канцлера.

Мы смутно чувствовали связь событий, хотя не знали ничего точно. Наша первая беседа, с внезапно вслывшим новым человеком, сложилась так.

В течение дня 15 июля Юнггейм бросил мне, что Гельферих просит меня к себе в пять часов. „Гельферих должен еще что-нибудь сообщить?“—спросил я Юнггейма. Он: „Я не знаю, но, во всяком случае, пожалуйста пойдите“. Я отправился, но вместо 5^{1/4} пришел в 5 часов 20 минут, потому что поезд из Ванзее опоздал. Я вошел в конференц-зал министерства внутренних дел и нашел его пустым. Ко мне подбежал служитель и сказал, что фельдмаршал просил меня в зал на совещание. А, подумал я, значит новая попытка!

Я прошел изрядное расстояние по прекрасному парку, и не встретил ни души. Вдруг, на повороте одной из аллей, уходящей вправо, я наткнулся на Гинденбурга, Людендорфа, Гельфериха и Михаэлиса. В ту же минуту к нам подошла другая группа: Пайер, Гаусман, Эберт, Ваншаффе и т. д. Когда я хотел присоединиться к этим последним, то Гинденбург попросил меня остаться. Мы обменялись несколькими словами неполитического содержания, а затем Михаэлис взял меня под руку и отвел в сторону, к великому изумлению остальных. Он: „Я должен с вами сейчас же поговорить, г-н Шейдеман. Так называемый Шейдемановский мир я устрою завтра же, если смогу, но что мы будем делать с этой резолюцией?“ При этом он показал мне номер „Форвергса“ от 14 июля, где была напечатана резолюция. Я: „Это отличная платформа, ваше превосходительство“. Он: „Нет, нет, резолюция мне неудобна, она слишком связывает меня, это вам еще вчера сказал Гинденбург“.

Тут развернулась длинная, минут в 25—30, беседа о значении резолюции. Я возражал ему шаг за шагом. Если вы добьетесь соглашения о том-то и о том-то, никто не сможет вас ни в чем упрекнуть. Он: „Да, соглашение—это в конце концов приемлемо, хотя выражение это меня не совсем устраивает. Но что ужасно, это слово „насилие“. Всякую малейшую уступку нам будут отклонять, опираясь на вашу резолюцию. Я не могу вам сообщить дальнейших подробностей, но не исключена возможность, что я в ближайшее время буду вести „переговоры“. Чувствуется в воздухе,—приэтом он сделал широкий жест правой рукой.—Больше я ничего не могу сказать. Но я знаю, что эта резолюция мне будет очень неудобна“. Я снова пытался его успокоить и

склонить в пользу резолюции. Он: „Я думал, что вы и главное командование вполне единодушны в вопросе о резолюции. Если бы я знал, что это не так, я бы очень подумал, раньше чем принять пост“. Я: „Да, но если вы принимали пост, предполагая, что главное командование вполне единодушно с нами, то из этого можно заключить, что вы сами, не сомневаясь, вступили бы на почву резолюции“. Он: „Я ее совсем не знал. Вообще, к сожалению, я не в курсе дела, как вы и другие. Вследствие крайней занятости я в сущности только в качестве современника, следовал до сих пор за колесницей большой политики“. И далее: „Во всяком случае понятно, что мы с вами поговорим прежде, чем я выступлю с речью“. Я: „Мне очень приятно, что вы это говорите, иначе я сам просил бы вас об этом. С вашим предшественником мы говорили и в важных случаях по несколько раз перед выступлениями в парламенте“. Он: „Ну, да. Я тоже считаю это нужным“. К нам подошел Гельферих со словами: „Господа не удаляйтесь больше от остального общества“. Мы подошли к группе, которая собиралась сесть за садовый стол. Когда мы подошли, я заметил, что в доме статс-секретаря за всеми гардинами торчали головы; значит, за нами внимательно следили.

Мы сели: Гинденбург сидел напротив меня, налево от него сидели Михаэлис, Ванпаффе, Гаусман, Людендорф, Готгейм, направо Фишбек, Эберт, Давид, Зюдекум, фон-Пайэр, Эрцбергер, Гельферих. Михаэлис заговорил с „Форвертсом“ в руках. Он повторил все то, что он мне только что сказал. Новым было одно: нельзя ли отказаться от голосования резолюции, если его речь удовлетворит нас и Гинденбурга. Мы тотчас же набросились на него: Эрц-

бергер, Давид и я. Об этом не может быть и речи. Если мы не внесем теперь резолюции, то ее внесут независимые социалисты. При этом они несколько изменят ее, однако так, что нам все-таки придется голосовать за нее. Гинденбург: „Если бы она была немножко тверже—вы не должны на это обижаться,—но, по моему, она слишком мягка. Не могли ли бы вы выпустить место о насилии? Оно нехорошо подействует в армии“. Долгие, долгие дебаты без всяких новых результатов. Наконец, „современник“ Михаэлис сказал, что он изготовит речь и снесется по телефону с Гинденбургом. „Затем я переговорю с одним или двумя из присутствующих здесь—я подумал прежде всего о г-не Шейдемане. Я надеюсь, что мне удастся говорить так, чтобы вы были удовлетворены, хотя я прямо и не скажу того, что сказано в резолюции. Таким образом, может быть, удастся довести все до благополучного конца“. Давид тотчас же сказал: „Не должно быть никакой двойственности, из-за нее и пала прежняя система“. Эрцбергер: „Да, если социал-демократы будут голосовать против кредитов, тогда кончено“. Все посмотрели на Гинденбурга и Людендорфа. Взглянув на Эрцбергера, Гинденбург пробормотал тихо, но так, что все поняли: „Этого они не могут сделать, не могут же они лишиться отечества поддержки“. Михаэлис обещает пригласить к себе обоих депутатов во вторник. Вставая с мест, все были согласны с тем, что резолюция должна быть опубликована Вольфом. При этом Людендорф заявил, что он только потому возражал против опубликования резолюции, что этого желал Ванпаффе. Потом Людендорф вставил в глаз монокль и сказал: „Гинденбург находит, что в ключительных фразах есть некоторая двусмысленность, которую вы могли бы, вероятно, устранить“. Вос-

произведу содержание резолюции по „Форвертсу“, номер которого Людендорф держал в руках:

„Большинство рейхстага, образуемое фракциями центра, социал-демократической партии, прогрессивной народной партии, эльзас-лотарингцев, частью немецкой фракции и отдельными членами других фракций, — согласилось на следующей программе мира, которая будет ими предложена рейхстагу, для принятия соответствующей резолюции:

На пороге четвертого года войны, также как 4 августа 1914, для германского народа сохраняют свою силу слова тронной речи: „Нами руководит не жажда завоеваний, Германия взялась за оружие для защиты своей свободы и независимости, во имя неприкосновенности своих территориальных владений“.

Рейхстаг стремится к миру на основах соглашения к прочному примирению народов. С таким миром не совместимы вынужденные уступки территорий и политические и хозяйственные или финансовые насилия. Рейхстаг отвергает также все планы, направленные на хозяйственное обособление и экономическую вражду народов после войны. Свобода морей должна быть обеспечена. Только экономический мир подготовит почву для дружеского сожития народов. Рейхстаг окажет действительную поддержку созданию международной правовой организации.

Пока, однако, неприятельские правительства не соглашаются на такой мир, пока они угрожают Германии и ее союзникам завоеванием и насилием, до тех пор германский народ будет стоять, как один человек и непоколебимо ждать и бороться до полного обеспечения ему и его союзникам права на жизнь и развитие. В своем единстве германский народ непобедим.

Рейхстаг знает, что в настоящем заявлении с ним заодно люди, в героической борьбе охраняющие отечество. Весь народ приносит этим людям вечную благодарность“.

Людендорф: „Последние фразы будут всеми поняты так, как если бы главное командование было согласено с настоящим заявлением, т. е. с резолюцией в целом. А между тем это не так. Поэтому вы должны конец по крайней мере изменить“. Вокруг нас образовалась небольшая группа и снова стали выдвигать возражения. Тогда мне пришла в голову спасительная мысль. Я предложил начать абзац словами: „в своем единстве“, а затем непосредственно присоединить следующую фразу: вместо слов „в настоящем заявлении“ поставить слова „в этом“ — тогда фраза будет относиться не ко всей резолюции, а только к словам об единстве, которое делает нас непобедимыми. А в этом главное командование с нами заодно. — Людендорф смеялся от чистого сердца. Таким образом главное командование активно участвовало в выработке резолюции¹⁾.

„Современник Михаэлис“.

16 июля 1918 г. В три четверти девятого утра я был по приглашению у нового канцлера Михаэлиса. Потом я попросил записать для меня на машинке то, что он мне сказал, и вклеил это в свой дневник. Сегодня он произвел на меня впечатление человека сильной воли, который убежден, что он в конце концов может добиться всего, раз выше назначили

¹⁾ Насколько я знаю, разница в заключительных словах резолюции в том виде, как ее опубликовал «Форвертс» и в формулировке, принятой рейхстагом, осталась незамеченной.

его на тот или иной пост. Некоторые заявления в его речи звучали прямо удивительно и ясно показывали, насколько он был прав в своем замечании о том, что до сих пор только следовал, в качестве современника, за колесницей большой политики. Он совсем не в курсе дел, не имеет понятия о настроении за границей; иначе его заявления о победе и победном настроении были бы совершенно непонятными. На мои возражения или просьбы об изменении или отказе от того или иного места его речи, он отвечал: „Хорошо, выдернем еще и этот зуб“. Когда я вернулся в приемную, а успел быстро информировать ожидавшего там Эрцбергера, чтобы он хорошенько помог в критических местах. Эрцбергер рассказывал потом, что Михаэлис, к моменту его прихода, уже изменил и опустил целый ряд мест,—согласно моим указаниям.

Воспроизвожу записанное на машинке: „Эберт слишком поздно получил приглашение, так что я был один у Михаэлиса. Михаэлис, держа рукопись своей речи в руке, сказал мне, что я должен в своей речи считаться с армией и ее настроением“. „Я признаю заслуги армии, затем перейду к самой войне и поставлю вопрос: доколе еще? Затем я буду говорить о больших победах, которые мы одержали на войне, несмотря на то, что Англия подняла против нас весь мир. В этом сознании своих побед мы можем говорить откровеннее всех других“.

Здесь я стал энергично возражать. Всякое заявление о готовности к миру будет наперед бесполезно, если мы начнем его с указания на наши победы и победное сознание. Ни одна из стран, с которыми следует серьезно считаться, не чувствует себя побежденной. Но каждая из них почувствует себя глубоко оскорбленной, если будут говорить так, как предполагает Михаэлис. Он посмотрел на меня

довольно удивленно, однако потом кое-что вычеркнул и сделал какие-то отметки на полях.

При этом я ему сказал, что может быть, допустимо сказать, что мы всегда с успехом утверждали себя, несмотря на огромный перевес противника.

Все, что выходит за эти пределы, было бы, по моему, в нашем положении злом.

Михаэлис произнес несколько незначительных фраз и, в конце концов, согласился ограничить свои пожелания. Мы должны обеспечить границы нашего государства на вечные времена, а также основные условия существования нашего народа. Мы хотим мира на основах соглашения, мира, который обеспечил бы прочное согласие народов. Мы не можем снова предлагать мир через полгода после того, как наша протянутая рука повисла в воздухе. Сделай другие какие бы то ни было мирные предложения, Германия немедленно готова к миру, как это уж не раз говорилось.

Затем он прибавил: „Эту часть речи я хочу закончить следующей фразой: наши цели достижимы в рамках вашей резолюции“. На это я мог согласиться, так как он определенно заявил, что на большее идти не может, потому что считает это определенно вредным, а также потому, что это тотчас же вызовет жесточайший конфликт с главным командованием. Да и нельзя от него требовать больше заявления, что он не желает ничего, что вышло бы за рамки резолюции.

Потом я спросил его, что он намерен говорить о внутренней политике. На это Михаэлис ответил: „Вы должны дать мне время. Я всего три дня на посту и должен, прежде всего, немного осмотреться. Я едва информирован. Во всяком случае я скажу, что питаю твердое намерение сделать связь между

народными представителями и правительством более живой и действительной". На это я ответил: „Ну, это немного“.

В виду того, однако, что несколько раз докладывали о новых посетителях, Эрцбергеру и других, которые ждали канцлера, я не стал входить в подробности внутреннего положения, а вместе того попытался проникнуть в планы канцлера о замещении должности статс-секретаря иностранных дел.

Я спросил его: кого он предполагает призвать на этот, без сомнения, важнейший пост. Так как он, Михаэлис, только что вступил в должность, то ему, конечно, очень важно иметь рядом с собой, на посту статс-секретаря, толкового человека. Михаэлис ответил: „Этот вопрос еще не решен. Во всяком случае ни одно из тех лиц, кого называли в публице. Одного мешают пригласить личные причины, другого—существо дела. Я намерен выдвинуть на первое место вопросы после-военной экономики, которые полны важнейшего значения для Германии. А в таком случае нужны не дипломаты, а люди, которые что-нибудь смыслят в хозяйственной жизни. Здесь-то я и должен прежде всего осмотреться. Я вам скажу, как я, обыкновенно, поступаю в таких случаях. Я буду назначать два раза в неделю заседания министерства иностранных дел. Таким образом я очень скоро увижу, кто на что-нибудь годится, а кто не годится никуда. Вы не можете не знать, что в ведомстве иностранных дел сидит изрядное число болванов. Как только я выясню положение, я произведу чистку“.—Я пожелал ему удачи в его планах и быстро простился, чтобы найти еще минуту дать некоторые указания Эрцбергеру.

17 июля 1917 г. В междупартийном заседании Пайэр и Эрцбергер доложили после меня о беседе

с Михаэлисом. Эрцбергер очень удивил нас, сообщив, что ряд мест, против которых возражали фон-Пайэр и я, изменен или вовсе выпущен канцлером из своей речи. Если канцлер намерен действовать так, как начал Михаэлис, то надо обсудить вопрос, не должен ли рейхстаг выразить ему доверие! Социал-демократы, так же, как Фишбек, высказались решительно против вотума доверия.

„Как я это понимаю“.

Насколько мы были правы, не желая обсуждать самого вопроса о вотуме доверия, показало знаменитое заседание, которое мы называли изречением: „Как я это понимаю“. В господине Михаэлисе не было ничего от дипломата, но зато было достаточно той бесчестности, которая пропитывала у нас всю политическую жизнь и парализовала все начинания. Несмотря на все препятствия и трудности, резолюция была не рождена мертвой, а убита бессовестной игрой тех, кто должен был бы, опираясь на нее, вести всю свою политику.

Ответ папе.

Продолжение политики полумер. — Ради Бога, конец! — Комиссия семи. — Интермеццо. Обмолвка Шпана. — На красном диване. — Через 3—4 недели переговоры с Англией.

Продолжение политики полумер.

В связи с резолюцией о мире я хочу привести для мировой истории еще один пример того, как в нашей военной политике одна полумера отменяла и лишала силы другую. Речь идет о мирном выступлении папы, которое повело к бесконечным разногласиям, а позднее и к сенсационным прениям в национальном собрании. Ясно было, что после вешишки, какую явилась резолюция, установилось тяжелое настроение. Кто только имел глаза и уши, видел и слышал угрозу конца. Пусть не все сознавались, каждый готов был ухватиться за соломинку. Конец! Конец! Ради Бога, пусть наступит конец, так скоро, как возможно и настолько благоприятный, насколько это достижимо. Может быть, еще удастся выйти целыми, может быть, еще можно избежать крушения, приближение которого, со всеми его страшными последствиями, я вижу уже давно. Теперь выступил папа — ему надо ответить. Пусть теперь оправдает себя комиссия семи — это новое завоевание парламента-

ризма. Таково было настроение в августе 1917 г. О решающем заседании я записал следующее:

28 августа 1917 г. Комиссия созвана на первое заседание у канцлера. Кроме канцлера, статс-секретаря ф.-Кюльмана и нескольких членов бундесрата, присутствуют следующие депутаты: Штреземан, ф.-Вестарп, Вимер, Эрдбергер, Ференбах, Эберт и я. Тотчас же берет слово ф.-Кюльман: „Германское правительство дало папе предварительный ответ в том смысле, что нота будет рассмотрена по существу, после чего будет дан окончательный ответ, т. к. есть время обдумать этот ответ. Кроме того, есть слухи, что и английский король ответил папе в том же смысле. То же сказал будто-бы и бельгийский король. В ответе очень существенны единение и решимость центральных держав. Если все четыре державы ответят одинаково, то это уже будет большим дипломатическим успехом. Если будет возможно, то Германия ответит после Антанты, это выгодно с различных точек зрения. Либо Антанта должна будет стать на почву папской ноты, либо она возьмет на себя перед всем миром ответственность за продолжение войны... „Как кажется“, Англия не относится несимпатично к предложениям папы. Франция тоже выиграла, но она зависит целиком от Англии. Италия нота также не может быть несимпатична“.

В последовавшем обмене мнений первым оратором был я. Я подчеркнул, что в ответе желательно выдвинуть на первое место идеальные точки зрения: обеспечение мира, третейские суды и т. д. Все эти вопросы мы, в противоположность Антанте, считали слишком второстепенными. Нота должна быть радостно приветствована в ответе и рассматриваться, как хорошая основа для предполагаемых переговоров. Особый пункт должен быть посвящен Бельгии. Гер-

мания должна без обиняков сказать, что она очищает Бельгию.

В том же смысле говорил Вимер, который желал включения в ответ пункта о свободе морей.— Вестарп желает, чтобы первая очередь была за Антантой—мы должны сохранять спокойствие нервов. Он сторонник идеальных точек зрения, но хочет избежать положительных выводов, которые могли бы быть вредны нам в будущем. Поэтому: только общие точки зрения и ничего о Бельгии. Ясно, что Бельгия должна стать зависимой либо от нас, либо от Англии.—Штресман: „Только общие точки зрения. Но, если будет говориться о Бельгии, то надо сказать и о Фландрии для того, чтобы Валлоны не угнетали население“. Эрцбергер: „Ответ должен быть дан в самых общих чертах“.

Интермеццо: обмолвка Шпана.

Воспроизвожу из своих записок еще следующую замечательную сцену: Ф. Вестарп повторил свою речь и подчеркнул, что он во всяком случае желал бы поставить Бельгию в зависимость от Германии. Он остается на точке зрения, которую депутат Шпан защищал в рейхстаге... Эрцбергер: „Ф.-Вестарп сослался на заявление Шпана в рейхстаге. Шпан, однако, просто оговорился, он должен был сказать: Бельгия не должна попасть в руки наших врагов ни экономически, ни политически, ни в военном отношении. Вместо этого он сказал: Бельгия, экономически, политически и в военном отношении должна попасть в наши руки. Следующий оратор, социал-демократ, тотчас же воспроизвел это заявление, из-за этого стало невозможно исправление слов Шпана в стенограмме“.

Никто не возразил против разъяснения Эрцбергера.

Канцлер резюмировал результаты обмена мнений и назначил следующее заседание для обсуждения предполагаемого окончательного ответа.

Когда в национальном собрании происходили упомянутые выше прения, я 2 августа 1919 года напечатал в „Форвертсе“ настоящее извлечение из моего дневника. Вслед за этим я получил замечательное письмо от известного лидера центра, доктора Шпана, потом министра юстиции.

„Ваше превосходительство.

Согласно „Форвертсу“ от 2-го числа текущего месяца, в Ваших записках значится сообщение Эрцбергера о том, что я оговорился относительно Бельгии: я должен был будто бы сказать, что Бельгия не должна попасть в руки наших противников. Это сообщение неверно. Фракция приняла мою формулу, которую я изложил, однако, в смягченной форме, представив ее в качестве вывода Бетман-Гольвега из его заявления о том, что Бельгия не может служить аванпостом для наших врагов. Я говорил об этом в 17-м заседании национального собрания.

Посетив меня в министерстве юстиции, один из членов фракции рассказал мне о том, что Эрцбергер говорил во фракции об обмолвке, но он, рассказывавший, опираясь на свои стенографические записи, оказался в состоянии должным образом осведомить Эрцбергера.

Прошу Вас, в случае повторного опубликования заметок, снабдить их соответствующей поправкой.

С совершенным уважением (подпись)“.

Я думаю, что, воспроизводя дословно это письмо, я лучше всего исполняю желание господина депутата Шпана. В моих сообщениях тоже исправлять нечего, ибо Эрцбергер сделал указанное выше заявление не только в комиссии и, как явствует из письма Шпана, в заседании фракции центра, но, между прочим, и в заседании между-фракционной комиссии. Все эти факты очень важны для позиции центра во время войны.

На красном диване.

Вернемся к папской ноте. Комиссия еще не знала результатов своей работы, т. е. текста нашего ответа, когда статс-секретарь Кюльман пригласил меня к себе. Излагаю кратко наш разговор. Кюльман: „Наш разговор совершенно конфиденциален. Поскольку речь идет об общих точках зрения, ответ на папскую ноту будет составлен совершенно в том смысле, какого желала комиссия; обмен же мнений между Германией и правительствами центральных держав по вопросу о Бельгии дал, напротив, отрицательные результаты. Все наши союзники представили возражения: если будут говорить о Бельгии, то необходимо, чтобы Австрия упомянула, напр., о Триесте и Трентино, Болгария об одном, Турция о другом. Но, кроме того, есть и другие важные соображения. Положение в последнее время сложилось так, что, сделав заявление о Бельгии, как того желает комиссия, мы отдаем в сущности свою последнюю карту“.

Я ответил, что прошу у него извинения за то, что скажу, но все это старая погудка на новый лад.

Он тотчас же подхватил это и сказал: „Пожалуйста, я могу только гипотетически сказать сле-

дующее: если бы, например, Германия и Англия имели желание переговорить о Бельгии при посредстве испанского короля или голландского, то разве вы не нашли бы лучшим до начала этих переговоров сделать их излишними ввиду публичного заявления с нашей стороны?“ Впрочем, он должен сказать, что все заинтересованные правительственные учреждения вполне солидарны в вопросе о Бельгии. Правительству само собою понятно, что с Бельгией должно быть поступлено так, как требует вполне определенно резолюция рейхстага от 19 июля и как определенно говорилось в последнем заседании комиссии. Я сказал, что очень удивлен позицией правительства в отношении Бельгии. Неудержимая агитация пангерманистов, занятие Риги и статья в амстердамском „Tijd, будто бы о предположениях правительства относительно Бельгии должны снова оживить в народе убеждение, что правительство ведет в бельгийском вопросе двойственную игру.

Он: Обо всем этом абсолютно не может быть и речи. Так как вы делаете больше возражений, чем я предвидел, то я и скажу вам больше. Курия осведомлена о предполагаемом ответе папе и вполне с ним согласна. Курия нисколько не настаивает на том, чтобы в ответе прямо говорилось о Бельгии. В свое время у меня были переговоры с ватиканским статс-секретарем, так что и папа вполне осведомлен о намерениях германского правительства. Я повторяю, что курия не ждет никакого ответа, кроме того, который был предложен 10-го числа настоящего месяца комиссии.

Я: Допустим, что все, что вы говорите, правильно; но что знают и что узнают за границей, в том числе и в нейтральных странах, обо всем том, что теперь знаете вы, курия и, может быть, члены комиссии?

Важно сообразоваться с настроениями за границей и так составить ответ, чтобы ни в коем случае не разрушить моста к переговорам. Даже оставляя в стороне мои основные соображения, нельзя думать, что большинство рейхстага признает себя согласным с умолчанием о Бельгии. А если удастся направить общественное мнение, так чтобы умолчание представить в качестве триумфа пангерманистов, то тогда надо ждать самых больших внутренних осложнений.

Кюльман сказал, что он вполне присоединяется к моей оценке всех этих моментов, но что все это только тактические соображения, которые именно в интересах ближайшего начала переговоров должны отойти на задний план.

Я еще раз подробно изложил свой взгляд на Бельгию и повторил, что считаю необходимым определенное и точное заявление о Бельгии.

Он: Если бы я не знал совершенно точно, что все, кто имеет отношение к данному делу, особенно канцлер, согласны со мною, я уже отказался бы от своего поста. Но я не мог бы остаться на нем и в том случае, если бы мне пришлось теперь против моего убеждения сказать что-нибудь, чего нельзя сказать после того, как вещи сложились так, как я вам намекнул. Именно мне вы можете пойти навстречу с величайшим доверием, а я могу сослаться на двадцатилетний дипломатический опыт.

Я: Вы говорите о намеках. То, о чем вы сказали мне, как о гипотезе, не может быть принято мною в качестве факта, с которым я должен считаться. При всем моем высоком уважении к вам, этого вы не можете требовать. Если за вашей гипотезой что-нибудь скрывается, вы должны говорить яснее.

Он: Я окажу вам абсолютное доверие. Через три-четыре недели вы ясно вспомните воскресное

утро, когда сидели у меня на красном диване. До тех пор, могу вас определенно заверить, переговоры с Англией будут уже в ходу. Вы согласитесь, что при таких обстоятельствах было бы глупо делать эти переговоры невозможным тем, что в ответе папе мы об'явим на весь свет, о чем намерены были говорить. Переговоры потеряют всякую почву, если ответ папе сделает их излишними.

Я сказал ему, что его сообщения во всяком случае весьма существенны, но что я тем не менее не уполномочен на какое-нибудь определенное заявление. Я должен переговорить с ближайшими товарищами по партии.

Желательно также, если он разрешит, сделать завтра утром в междуфракционном совещании сообщение о том, что он сказал. Он должен точно указать границы, которых следует при этом держаться. —

Он: Вы можете сказать все, чего вы не считаете абсолютно требующим умолчания. Разумеется, вы ни в коем случае не должны говорить о переговорах, о которых я вам сообщил.

После этого я доложил в междуфракционный комиссии о беседе с Кюльманом так подробно и обстоятельно, как только возможно. Общее недовольство.

10 сентября 1917 г. Комиссия у канцлера. Кюльман читает ответ папе и поясняет его, подробно указывая причины, побудившие ничего не говорить о Бельгии. Он желает — де резко подчеркнуть, что резолюция о мире от 19 июля служит правительству руководящей нитью.

В длинной речи, которой я не могу здесь воспроизводить, я отстаивал взгляд, что, несмотря на все изложенное Кюльманом, наша позиция в отношении

Бельгии должна быть точно указана, разве бы господин Кюльман, кроме указанных им, располагал еще и иными доводами. Цитирую дословно из моего дневника:

„Фон-Кюльман промолчал, потому что он давно заметил, что склонил в свою пользу большинство комиссии. Я закончил указанием на то, что мы должны бороться за осуществление своих желаний в комиссии; нет смысла нести ответственность за решения, на которые нельзя оказать существенного влияния.

Ференбах тотчас же пошел на большие уступки. Однако, он поддержал мое желание, чтобы в точной форме была сделана ссылка на позицию большинства рейхстага. То-есть, могли бы быть устранены возражения социалистов против видимости успехов пангерманистов...

Затем говорили канцлер Штрезема и фон-Пайер. Наконец, Эрцбергер сказал: Я считаю заявление о том, что резолюция служит правительству руководящей нитью, самым серьезным за последние три года. Десять дней назад требование открытой декларации о Бельгии было совершенно справедливо, теперь—нет. Эберт (в обширной речи), обращаясь к Эрцбергеру: „После того, что я здесь слышал, я не могу согласиться с тем, чтобы положение было иным, чем десять дней назад“.

Окончательный ответ папе известен всему миру, в своей половинчатости и в обусловленном ею бессилии.

Когда я при случае напомнил господину фон-Кюльман о красном диване и спросил об английских переговорах, он пожал плечами.

Стокгольмская конференция.

Надежда во всех окопах.—Трудные приготовления.—Эльзас-Лотарингия—Может быть исправление границ.—Резолюция партии: без аннексий и контрибуций.—Правительство против нашей формулы.—Людендорф понимает, как должен быть решен эльзас-лотарингский вопрос.—Мы информируем Штаунига для осведомления Альберта Тома.—Виктор Адлер.—Убийство Штюргка.—Вечер в Копенгагене.—У графа Ранцау.—Дания и подводная война.—Переговоры в Стокгольме.—Стокгольмский меморандум.—Живой француз.—«Без аннексий»—для всех, но не для нас!—У шведского министра иностранных дел.

Надежды во всех окопах.

Стокгольмская конференция, со всеми предварительными переговорами, обнимает четверть 1917 года, от апреля до июня. Она возникла главным образом по инициативе нашего товарища по голландской партии Трелстра и была организована Международным Социалистическим Бюро. Кто не слишком беснамятен и оценивает события не только по их непосредственной успешности или безуспешности, тот и теперь еще чувствует и помнит, какие огромные надежды связывались во всем свете с этим мирным выступлением социал-демократии. Над всеми окопами стояла мысль о Стокгольме, как о новой Вифлеемской звезде, которая должна привести к яслям мира. В течение трех месяцев мысль миллионных армий

была направлена на результаты переговоров между представителями рабочих и понятно, что бесплодность—не нашей виной вызванная бесплодность—конференции бесконечно усилила усталость от войны и отвращение к затягивающим войну аннексионным вождедениям.

Германские социал-демократические депутаты должны были в эти недели осилить работу, почти неосиливаемую. Германия вызвала ненависть всего мира, и они должны были быть готовы к жесточайшим нападениям. Материал для суждения об их позиции должен был быть представлен во всей возможной полноте. Собрание всех документов, относящихся к работе партии за время войны, составленное мною и по моей инициативе, было не знающим равных документом, подобного которому не могла противопоставить нам ни одна социалистическая партия в мире, и которое свидетельствовало о наших неутомимых усилиях в пользу мира. Рядом с внутренней работой мы должны были вести ежедневно возобновляемую борьбу с правительством, которое только в одном проявляло твердую волю: в решении ничего не понимать. Доказательством тому служат излагаемые ниже переговоры с канцлером и министерством иностранных дел. Рядом с этим шла смешная и в то же время разрушительная для государства борьба в конституционной комиссии, где правительство и буржуазные партии соперничали в игнорировании положения и в страхе перед собственной и еще больше перед нашей решимостью. Кроме всего этого как раз в начале приготовлений, прерываемых частыми поездками в нейтральные страны, вспыхнули забастовки в Лейпциге и Берлине, и у нас руки были полны дела для того, чтобы предотвратить необозримый вред, который „сильные люди“ из правительства

могли бы причинить потребностью в ложном престиже и полным непониманием психологии рабочих. Были дни, когда нам следовало бы быть одновременно в Берлине, в Копенгагене и в Стокгольме.

Последующее дает связанное изображение внутренних событий до, во время и после Стокгольма. Мысль о конференции явилась у нас впервые, когда в Берлин приехал из Гааги лидер голландских социалистов Трелстра.

Трудные переговоры.

Трелстра собирался ехать в Стокгольм, чтобы там вместе с международным социалистическим Бюро начать пряжу нити мира. Так как швейцарцы уже устроили одно, правда, несколько дикое, совещание, а скандинавские страны уже провели междупарламентскую конференцию в пользу мира, то мы встретили план Трелстра радостно. На совещание были вызваны в Берлин некоторые австрийские и венгерские товарищи. Мы сговорились очень скоро по всем вопросам. Трелстра и австрийский товарищ доктор Адлер поддерживали допущение на конференцию, которая предполагалась в середине мая, также и германского меньшинства.—Мы заявили: „Для нас важнее всего вопрос о мире; мы не стали бы возражать, если бы к участию в конференции были приглашены и независимые“. Последовал любопытный обмен мнений по поводу паспортов, которые мы должны были достать для Гааге и других. Мы должны были, таким образом, как бы доказать, что мы правительственные социалисты. Эберт воздержался от участия в прениях, но потом заявил, что мы протестовали бы, если бы членам рейхстага, намеревающимся ехать на мирную конференцию, отказали

в выдаче паспортов. Трелстра сказал: „Из обсуждения социалистической конференции надо по возможности исключить вопрос о вине в возникновении войны, так же как и национальные партийные разногласия. Все должно быть направлено на один вопрос: как поскорее достигнуть мира“. С этим мы были вполне согласны. Вечером Адлер уехал в Цюрих для переговоров в русским Аксельродом.

Эльзас-Лотарингия.

Мы лихорадочно работали для осуществления стокгольмской конференции. Уже 22 апреля наш товарищ Кифер приехал из Стокгольма в Берлин с письмом Штаунига приблизительно следующего содержания: Штауниг говорил с Тома, который по дороге в Петербурѣ был в Стокгольме. Тома сказал, что французы, вероятно, приедут в Стокгольм на конференцию. Труднее всего для них вопрос об Эльзас-Лотарингии. Важно, какую мы займем позицию. Тома согласился, чтобы Штауниг нам это сообщил, но обязал его к строжайшей тайне. Далее Штауниг желал, чтобы мы выступили в пользу того, чтобы датские пароходы, следующие в Данию с продовольственным грузом, не взрывались минами. Страна ставится этим в очень тяжелое положение, и настроение народа все ухудшается. Если не произойдет изменений, министр Скавениус не удержится на посту. Штауниг давал понять, что имеет сделать нам еще дополнительные сообщения, из чего мы сделали вывод, что он желает с нами переговорить.

23 апреля. Заседание президиума партии. Предмет: письмо Штаунига. Общее убеждение, что мы не можем ответить Штаунигу письмом же. Эберт и я

командируемся тотчас же в Копенгаген.—В 12 часов пришел Трелстра, он прочитал письмо и нашел, что положение очень благоприятно для конференции. Он, Трелстра, уезжает 24-го в Копенгаген и предупредит Штаунига о нашем приезде.— Так как Циммерман был в главной квартире, то я устроил беседу с Ваншаффе, чтобы пощупать, так сказать, его пульс по поводу Эльзас-Лотарингии. Во время нашей беседы — кроме меня был Эберт — пришел Рицлер. „Да, Эльзас-Лотарингия?“ Они ничего не хотели говорить так как не были на то уполномочены. Установив, какова наша принципиальная позиция соответственно резолюции партии, я затем сказал: „Не окажется ли, вообще, возможным поставить вопрос о том, нельзя ли предложить исправление границ таким образом, чтобы мы обменяли несколько лотарингских деревушек на соответствующую область“.—На это Рицлер заметил: „Может быть, это оказалось бы возможно в форме уступки равноценных областей Люксембургу как с нашей стороны, так и со стороны французов“!! Ваншаффе воздержался от заявлений, так как прежде всего должны были говорить Циммерман и канцлер. Он обещал, не откладывая, завтра переговорить с обоими и сообщить, когда Циммерман сможет нас принять. В течение дня я говорил с Гохом. Когда я, не указывая, почему, заговорил об Эльзас-Лотарингии, он стал ожесточенно возражать: „Об Эльзас-Лотарингии мы не можем говорить с французами“.

Без аннексий и контрибуций.

23 апреля я говорил с Циммерманом. Прежде всего, он стал ругать Талаат-пашу, который уже четыре дня сидит у него на шее и отнимает драго-

ценное время. Я был рад, что он излился по поводу турка, потому что сразу заметил, что он полон еще какого-то другого гнева. Я считал, что выпад против турка пойдет на пользу мне. Без долгих приготовлений он перешел к резолюции, принятой в последнем заседании комитета партии и опубликованной в печати. Содержание ее было следующее:

„Комитет и президиум германской социал-демократической партии в соединенном заседании с президиумом фракций рейхстага и прусской палаты депутатов, а также областной комиссии по делам Пруссии, в заседании 19 апреля единогласно приняли следующую резолюцию:

Мы подтверждаем непреклонное решение германского рабочего класса вывести германское государство из настоящей войны в качестве свободного государственного союза. Мы требуем немедленной отмены всякого неравенства граждан в политических правах, в империи, в каждом из союзных государств и в местном самоуправлении. Мы требуем также немедленной отмены всех форм бюрократического управления и его замены решающим влиянием народного представительства.

Мы решительно опровергаем распространяемые неприязнительными правительствами слухи о том, что продолжение войны нужно для того, чтобы принудить Германию к введению свободного государственного строя.

Изменение внутреннего строя, согласно убеждениям германского народа, есть дело самого германского народа.

Со страстным сочувствием мы приветствуем победу русской революции и вызванное ею оживление международных стремлений к миру. Мы заявляем о

своем согласии с резолюцией съезда русских советов рабочих и солдатских депутатов о подготовке мира без аннексий и контрибуций на основе свободного национального развития всех народов.

Поэтому мы считаем важнейшей обязанностью германской социал-демократической партии, также как и социалистов других стран, бороться с насильническими мечтами честолюбивого шовинизма, принудить правительства к отказу от всякой завоевательной политики и добиться, как можно скорее, окончательных мирных переговоров на указанных основаниях.

Ни один народ не должен быть поставлен мирным договором в унижительное и невыносимое положение. Каждому народу должна быть дана возможность способствовать обеспечению будущего всеобщего мира путем добровольного вступления в надгосударственную организацию и признания обязательного третейского суда“.

Для заграницы, утверждал Циммерман, эта резолюция послужит доказательством слабости. Правительство должно на нее реагировать в „Северо-Германской Всеобщей Газете“.

Я обрушился на него: „Правительство должно хорошо обдумать, что ему писать, оно стоит перед решением, которое чревато последствиями. Если оно не отдает себе отчета в окружающем, а может быть даже строит глазки направо, тогда положение в Германии — правда, иными путями, сложится так же, как в России. То, что пережито нами на прошлой неделе в связи с большой забастовкой, повторится и притом распространится на всю страну. Если правительство доведет до таких обстоятельств, то мир будет скоро. Если правительство выскажется неслишком умно, мы не сможем держаться своей

прежней политики. Мы хотим мира и считаем избранные для этого средства правильными“. Циммерман уступает, чтобы затем снова ожесточиться. „Я буду рад, когда уйду из этой лавочки“. Ему опять пришлось грызться с ведомствами: с генеральным штабом, с морским штабом. Высший генералитет не имеет понятия о народе и о внутреннем положении. Кроме того все генералы держатся очень правых взглядов. Он, Циммерман, тоже хочет мира, но так, как хотим мы, его заключать нельзя, и т. д.

Я энергично отстаивал нашу точку зрения.— „Эльзас-Лотарингия? Да, да, да“. Наконец, его прорвало—совершенно конфиденциально он говорил об этом с главным командованием. Как уже было заявлено Ваншаффе, главное командование тоже согласно на „исправление границ“, если это облегчит мир. В главной квартире он встретил сочувствие со стороны Людендорфа: с военной точки зрения то или иное предложение вызывает некоторые сомнения, однако, сказал Людендорф, они устранимы. Например, на что он согласился бы, это сдача Шато-Салин.

Для нас это было важным показателем. Когда я заговорил о внутреннем положении и указал на отношение к Пруссии за границей, он заметил: „Ну, это будет иначе, на это можете положиться“. Мы расстались совершенно дружески.

Мы информируем Штаунига для сообщений Альберту Тома.

25 апреля Эберт и я отправились в Копенгаген для беседы с Штаунигом. На следующее утро Кифер привел нас в служебный кабинет министра Штаунига. Обстановка в министерстве не слишком рос-

кошна. Штауниг сидит в приспиченной комнате флигеля, соединяющего дворец с помещением правительства.—Мы доложили о беседе с Циммерманом, о том что последний хочет поднять вопрос о необходимости не топить пароходов, которые направляются в Голландию и Данию; высшее командование также намерено этим заняться. Нейтральные страны должны быть оберегаемы, пока и поскольку ведение подводной войны вообще это допускает. Это удовлетворило Штаунига.—Затем мы изобразили нашу позицию в отношении Эльзас-Лотарингии для более точного информирования Тома. Наше отрицательное отношение к требованию отдать Эльзас-Лотарингию вовсе не означает такого же отношения ко всякой попытке переговоров об исправлении границ. С нашей точки зрения можно несомненно говорить об исправлении границ, при котором произведен был бы обмен 20—30 пограничными деревушками. Если бы таким образом для Франции был упразднен вопрос об ее престиже, то об этом, конечно, можно было бы поговорить.—Штауниг признал нашу позицию разумной и обещал точно осведомить Тома, если ему удастся поговорить с ним, тотчас по возвращении из Петербурга. Затем Штауниг сказал, что все его письменные сообщения опирались на прямые заявления Брантинга, иначе говоря Тома. Брантинг сказал ему, что все русские группы из'явили готовность приехать в Стокгольм. О Тома Штауниг сказал: „Он очевидно сторонник мира и старается обойти Эльзас-Лотарингский вопрос“.

Затем Штауниг об'явил нам, что до открытия конференции в Стокгольме, должны произойти предварительные переговоры со всеми национальными группами, так же как с различными группами отдельных наций.

Вечер Штаунинг пошел за ван-Колем, а затем около половины одиннадцатого пришел к нам в ресторан Розенберг. Трелстра уехал в пять часов вечера в Мальме, чтобы оттуда отправиться в Стокгольм. За ним должен был последовать Штаунинг. Мы должны были вернуться в Берлин.

Виктор Адлер. Поездка с доктором.

Около 20 мая несколько австрийских социал-демократов уже приехали в Стокгольм для предварительного ознакомления с нашим международным мирным бюро. По самым разнообразным причинам, как это видно будет из описания нашей совместной поездки, Виктор Адлер, или, как его называла вся Австрия—доктор, не мог, к своему сожалению, поехать с коллегами. 21 мая президиум партии получил телеграмму, сообщавшую о предстоящем прибытии Адлера в Берлин и настоятельно просившую ни в коем случае не отпускать его одного в Стокгольм, в виду его болезненного состояния. Что могло теперь и что могло еще быть нужно Виктору Адлеру в Стокгольме? Он должен был предстать там, для того, чтобы давать справки и собирать впечатления и сведения, в интересах германской делегации из Вены и Берлина. Президиум партии поручил мне сопровождать Адлера. Важно было знать, что у Адлера надежный провожатый, при чем сам он не должен был замечать, насколько мы считаем его важным. В последующем я воспроизвожу заметки из моего дневника.

Убийство Штургга.

23 мая 1917 г. Поездка с Виктором Адлером из Берлина в Копенгаген. Веселого в этой поездке было мало, потому что Виктор находился в плачевном состоянии. Здоровым человеком я его не считал никогда, я знал что он болен сердцем и страдает астмой, но что бедняга иногда совершенно беспомощен—я не знал. У него были с небольшими перерывами припадки, во время которых я опасался, чтобы он не отправился немедленно к праотцам. Когда за Гьдзером в наше купэ вошла дама, с Адлером сделался особенно нехороший припадок, он совершенно поник головой, странно застонал, с усилием стал втягивать в себя воздух. Дама в негодовании убежала в соседнее купэ. Я помог, конечно, как умел, но постарался все изобразить так, как если бы дело шло о пустяках. Мои материнские заботы, сказал я, нравятся ему, повидимому, так сильно, что он регулярно повторяет свои припадки. Это благодарность за добродушие, с которым я отношусь к его головокружению. Как только ему стало легче, он был тотчас же весь мысль и движение. Все его помыслы были постоянно направлены на дело социализма, составлявшее содержание всей его жизни. Так, он рассказал мне о беседе, которая была у него накануне с Каутским. Адлер сказал: „Бебель еще и сейчас был бы на нашей стороне“. Каутский ответил: „Нет, вначале он был бы с нами заодно, теперь же—нет“.

Потом Адлер заговорил обо мне. Во всех политических вопросах он был со мной солидарен. Однако, он сделал мне упрек: в моих речах не хватает речи, у меня нет желчи, я всегда „благоразумен“, это ошибка.

Потом мы говорили об его Фрице, который занимал его все глубже и глубже.—Он счастливее всех нас: каждый его день полон творчества; он пишет большую работу по физике. В мас они приговорят его к смертной казни через повешение. Но суд сам будет ходатайствовать перед министром юстиции о смягчении приговора. Тогда ему дадут 10—15 лет тюремного заключения. Что будет дальше, будет видно. Вся Вена говорила: это хорошо, то, что Фриц сделал, это должно было быть сделано уже годом раньше. Адлер, конечно, осуждает деяние своего сына, но понимает его: Фриц хотел показать пример самопожертвования. „У меня два сына, Шейдеман, из них один Фриц, карриатура на мои добродетели, а другой Карл, карриатура на мои пороки“. „Фриц держал себя перед судом очень мужественно. Вы знаете, он хотел, во что бы то ни стало, быть повешенным. Он наперед знал, что предстанет перед военным судом, и что там дело будет продолжаться недолго. Когда я в первый раз посетил его, чтобы сказать, что я хочу пригласить первого защитника в Вене, Гарпнера, он стал резко отказываться. Ему не нужно защитника, он будет сам защищаться. Он согласился только тогда, когда я сказал ему, что по закону у него обязательно должен быть защитник. Да, видите, он хотел во что бы то ни стало быть повешенным“.

Затем он снова заговорил: „Вы не воображаете, что я потерял в Фрице, он знал, где стоит каждая брошюра, которая мне нужна. Я никогда не знал, где мои книги. Я был того мнения, что ничто не изменится, если чорт заберет меня в один прекрасный день, Фриц откроет ящики, все приведет в порядок и все будет ладно. Да, так-то! Он хорошо знал меня и все мои привычки“.

На Стокгольмскую конференцию Адлер смотрел с оптимизмом, которого я не понимал. Кто же хочет продолжать войну? Кто может ее продолжать? Ведь этого нельзя больше выдержать. На мои указания на непонятное поведение, особенно со стороны английских и французских товарищей, он ответил: „Этим надо сказать чистую правду. Если они будут только знать, что мы в сущности сделали, то, не будучи ослами, он не могут не образумиться“.

Вечер в Копенгагене.

В конце концов Адлер оправился настолько, что по приезде в Копенгаген настоял на совещании с Штаунигом в тот же вечер. Я тотчас же уведомил некоторых товарищей. До совещания я ужинал вместе с Адлером.

Трогательно было наблюдать, как быстро, с маленьким улучшением его состояния, возвращались к нему юмор и хорошее настроение. Доказательством тому служит небольшой анекдот, который среди тяжелых политических забот дня он рассказал мне за столом. Он скорбно жаловался на то, сколько он за свою жизнь переболел. „Извольте видеть, ребенком я был болен гриппом. В детстве я кроме того заикался.“ Тут он рассказал как вскоре после сдачи экзамена на аттестат зрелости он лечился от заикания в Бургштейнфурте около Мюнстера. Это было в войну 70-го года. Когда в Бургштейнфурте было устроено торжество в честь Седанской победы, на котором, в качестве ораторов, выступали именитые граждане, то директор лечебницы для заик внезапно приказал возвестить тушем выступление Адлера. Ему ничего не оставалось, как взойти на трибуну, заговорить и продемонстрировать *ad oculos*, как быстро

излечиваются в Бургштейнфурте от заикания. Он поздравлял тогда германский народ с победой от имени 8-ми миллионов австрийцев. „Знаете, Шейдеман, на миллионы я никогда не скупился. Не раз я говорил от имени нескольких миллионов, когда за мной стояли несколько сот человек“.

После обеда мы пошли в комнату Адлера, где собрались для первой беседы Боргбергер, Штаунинг, Нина Банг, Янсон, Андерсен и я. Мы говорили о множестве разнообразных вещей. Боргбергер рассказывал о петербургских переживаниях. Приятно, поддерживаемый Штаунингом, он неоднократно указывал на то, что Россия не в состоянии продолжать войну. Если Австрия и Германия не желают продолжать войны с Россией, то на востоке война может считаться оконченной.

Адлер в большом волнении: „Мы, продолжать войну? Извините пожалуйста, мы не можем и не хотим ее продолжать. Это я могу действительно заявить авторитетно от имени всей Австрии. Я доподлинно знаю, что император и Чернин хотят, во что бы то ни стало мира“.

Боргбергер сообщил, что в России, даже при скромной жизни турист не может прожить на 30 рублей в день. Все хотят мира, но никто не идет на separaten мир.

Штаунинг шепнул мне, что он и Боргбергер ждут меня у него, завтра, в три часа дня, для того, чтобы поговорить.

У графа Ранцау.

Как всегда, я использовал и это свое пребывание в Копенгагене для того, чтобы поговорить с официальным германским представителем. Граф Ранцау и

его главный сотрудник, атташе по торговым делам, доктор Тепф (позднее, помощник секретаря иностранных дел) поддерживали все время войны хорошие отношения с Данией, что составляет их величайшую заслугу. Они стояли во внешней политике на одной точке зрения с нами, и прежде всего относились так же, как и мы, к беспощадной подводной войне. Понятно, поэтому, что Копенгагенское посольство стало пунктом помешательства для всех аннексионистов и пангерманистов, особенно в виду его разумного сотрудничества с датскими социал-демократами, которых, мы, разумеется, поддерживали всеми силами.

Я сделал графу Ранцау визит. Мы поговорили очень откровенно. Он не хотел окружать себя тайной и особенно выразительно говорил о Вильгельмштрассе. Я не отставал. А когда я рассказал графу о проделках Ягова с бароном Эккардштейном, то он разразился совершенно простонародными проклятиями. Он рассказал мне о своих хороших отношениях со Скавениусом, которого считал крупным государственным человеком. Скавениус действовал всегда открыто и в конце концов, когда „подводное помешательство“ стало делаться все страшнее, сказал Ранцау, что он откажется от своего поста. „Если Германия хочет теперь все разрушить, то у меня нет другого выхода, как уступить свой пост другому“.

Затем граф сообщил мне конфиденциально, что он предоставил свой пост в распоряжение статс-секретаря Циммермана. Абсолютно бессмысленные взрывы шведских и датских пароходов с продовольствием разрушают все, что он с трудом построил за три года. Дания согласна опять дать нам 12.000 лошадей, однако, она может это сделать не

иначе, как под условием беспрепятственного плавания ее пароходов в Англию и обратно. При таких условиях англичане готовы закрыть глаза. Они делают вид, будто верят, что эти 12.000 лошадей предназначены для сельского хозяйства, хотя ни один человек не может сомневаться, что они все до одной пойдут на фронт. Для нас вывоз из Дании в Германию—масло, 700 туш в неделю и т. д., а кроме всего лошади—разумеется гораздо важнее, чем вывоз ветчины и масла в Англию. Очевидно, что благодаря умной политике Скавениуса, положение сложилось так, как еслибы между Данией, Англией и Германией состоялось соглашение о предметах вывоза. Приэтом положение Германии лучше всего. И вот теперь прилагают все усилия, чтобы нас рассорить с Данией. Датское правительство не требует безопасности в минированной полосе, но между этой полосой и датским побережьем не должен быть ни потоплен, ни взорван ни один датский пароход. Граф Ранцау уверяет, что датский вывоз в Англию так ничтожен, на голову населения—10 грамм в день,— что он не должен был бы иметь существенного значения для нашей политики, которая в действительности, однако, вовсе не учитывает ни хозяйственных, ни политических последствий. Население Дании становится все несдержаннее. Враждебное Германии настроение все растет. Растет на глазах. Если министерству Скавениуса (с Штаунингом) придет на смену консервативное министерство, враждебное Германии, то Дания сейчас же окажется в стане врагов. Это особенно плохо для времени после заключения мира.

Мы говорили и о наших дипломатах. Приэтом он рассказал мне, что при последнем кризисе, его со всех сторон выдвигали на пост статс-секретаря. Но он сам старался за Циммермана, потому что если бы

он стал серьезно конкурировать с Циммерманом, то вероятнее всего, место занял бы кто-нибудь третий.

Затем вопрос о мире. Как и граф Бьернсторф, он вполне согласен со мной в оценке положения. Однако, сказал он при этом,—он не мог одобрить мирного предложения канцлера от декабря 1916 года, потому что в то время он, действительно, считался с тем, что это предложение могло быть сочтено за проявление слабости. Я, конечно, возражал. „Взаимные укоры прошлым не имеют теперь, конечно, смысла“, заключил он. Совершенно правильно он считает мою формулу „без аннексий и контрибуций“ защитой для нас.

Он многократно и выразительно подчеркивал, насколько лево он настроен—это знают в Берлине, и влиятельные круги ставят ему за это палки в колеса. Здесь его левая позиция позволила ему отлично работать со Скавениусом. При этом социал-демократы оказали ему исключительные услуги. Мы расстались, как старые друзья.

Дания и подводная война.

В день моей беседы с графом Ранцау я встретился с его атташе по торговым делам, доктором Тепффом, который был очень озабочен будущим. Он опасался серьезного конфликта между Германией и Данией в ближайшее время, если у нас не обуздают тотчас же военных. Конечно, в Германии есть военные, которые были бы очень довольны, если бы мы „завоевали Данию в три дня“, и послали военные суда в Копенгаген. Быкоподобный генерал, который потом стал бы управлять Данией на правах губернатора, тоже, конечно, легко найдется.

Я спросил его: „Что, по вашему, следовало бы тотчас сделать, если бы“ и т. д. Он: „Должен быть дан свободный проезд через Берген“. Он убежден, что Скавениус в твердой уверенности, что Германия ничего не предпримет против датского вывоза и ввоза в Англию и из Англии (что противоречило бы старым соглашениям), связала в отношении себя так или иначе так же и Англию. Только потому Англия терпела, например, вывоз лошадей в Германию. Если Германия своими мероприятиями дезавуирует теперь его, Тенффа, то значит ему невозможно оставаться на своем посту, и он уйдет. Дания не требует гарантий в минированной полосе, но прямо от побережья до этой полосы, также как и через Берген, проезд должен быть свободен. После краткого размышления я написал для Тенффа телеграмму Циммерману, которую теперь должен был отправить, переговорив с Ранцау. Телеграмма была следующего содержания: „Из конфиденциального разговора с Штаунигом я вынес абсолютно твердое впечатление, что положение вещей в министерстве примет катастрофический характер, если не будет очищен, по крайней мере, проезд через Берген. В виду настроения в германских рабочих кругах, настоятельно прошу сделать все для удовлетворения минимальных требований. Шейдеман“.

Когда я вечером встретил у Бзрибьерга Штаунига, то он сказал мне, что сообщил Скавениусу, действительно выдающемуся министру иностранных дел, о моем пребывании в Копенгагене. Скавениус намекнул на то, чтобы сказать мне, чтобы я энергично действовал в Берлине в вопросе о подводной войне. Штауниг обрадовался, когда я сообщил ему о телеграмме Циммерману. К счастью мое вмешательство не осталось безрезультатным.

Стокгольмские переговоры.

О Стокгольмской конференции было уже напечатано все, что только можно было о ней сказать, да и происходила она на глазах всего света. Поэтому в этой книге я могу ограничиться сообщениями о том, что до сих пор было меньше, или вовсе не было известно. Само собою разумеется, я опускаю здесь всякую полемику против поведения германских социалистов меньшинства, которые в Стокгольме были так же близоруки, как позднее в прениях по Версальскому договору. „Мы должны подписать“, „мы подпишем“.

2 июня 1917 года. Германская делегация, прибывшая накануне в Копенгаген, уехала в Стокгольм. Виктор Адлер жил в Гранд-Отеле, мы разместились в Континенталь-Отеле, большом караван-сарая. Адлер очень резко говорил о порядке, установленном в интернациональном мирном бюро. Он рассказал нам, между прочим, об обширной анкете, которая будет предложена нам к заполнению и которая, как мы впоследствии могли убедиться, сделала бы честь прусскому тайному советнику. Мы тотчас же устроили заседание делегации, в котором приняли участие также Штауниг, Адлер и Гюбер. В этом заседании Адлер сказал нам, что всякие споры о праве самоопределения народов глупы, потому что это издевательство уговаривать маленькие народы и народики, что они могут стать во всех отношениях самостоятельны. Комитет должен со всею возможною быстротою обсудить и выяснить один единственный вопрос: как нам возможно скорее приблизить мир? „Перестать стрелять“—вот в чем дело.

После довольно продолжительных прений, в которых участвовал и Штауниг, мы сговорились потре-

бовать следующей программы: в I заседании с Международным Бюро единственно получение анкеты, характеристика нашей политики во время войны, затем перерыв для заполнения анкеты. — Далее: протоколы и декларации конференции имеют для нас значение постольку, поскольку мы их читали и подписали. Эти требования были важны потому, что Адлер и Гюбер рассказали нам, что Камилл Гюисманс внес целый ряд произвольных и нарушающих смысл изменений во французское изложение австрийских требований. Достоинно внимания еще одно заявление Адлера. Он предпочел бы, чтобы германское меньшинство выступило раньше нас потому, что он опасается, что после нас они развернут бесконечную полемику. Достаточно вспомнить Эд. Бернштейна, да и Каутский питает те же склонности.

Окончательное постановление о нашей тактике было таково: мы требуем 1) абсолютно конфиденциального характера работ настоящей конференции, 2) контроля и контр-ассигнования протоколов, 3) предварительного соглашения о сведениях, сообщаемых для печати, 4) точных постановлений о предполагаемом обмене резолюциями отдельных секций. Право высказаться об обширной анкете должно быть оставлено за нами.

Первый большой день.

Заседания происходят в частном доме, где Гюисманс снял на довольно продолжительное время недурно меблированную квартиру. Присутствуют Брантинг, Штаунинг, Трелстра, ван-Коль, Гюисманс, Витнес (Христиания) и секретари: Энгберг и Мюллер (Стокгольм). Кроме того мы, девять делегатов. Трелстра приветствует нас и обращает внимание на трудности, которые предстоит преодолеть. При этом

он дает понять, что нам, „как главным ответчикам“, придется хуже всего, потому что наша политика чаще всего обсуждалась в интернационале. Эберт, которого мы избрали председателем своей делегации, заявил наши условия. Их приняли без затруднения. Затем он ответил на вопрос, знакомы ли мы с анкетой (которая в этот самый момент очутилась в первый раз перед нашими глазами): нет, мы сегодня и не можем войти в ее обсуждение, мы должны предварительно ознакомиться с ней и обсудить ее между собою. Напротив того, продолжал он, изобразить вам в цельном изложении нашу политику в отношении войны мы считаем необходимым сегодня же, особенно после речи Трелстра. В этих целях мы просим слова для Шейдемана.

Германская социал-демократия о войне и мире.

Вслед за этим я, справляясь с составленными мною и по моей инициативе „собраниями“ документов, охарактеризовал нашу военную политику. При этом, цитируя, между прочим, резолюции французских социалистов, я вплетал в свою речь не мало иронии.

Больше всего ее было в заключительном предложении, облеченном в самую учтливую форму: „интернациональное социалистическое бюро, или президиум нынешней конференции оказали бы величайшую услугу интернационалу и делу взаимного понимания народов, если бы они пожелали издать однородные собрания документов и актов, относящихся к мировой работе социалистов Антанты“.

После меня ван-Коль произнес поистине очень глугую речь против Германии, ее правительства, ее социал-демократов, кругом виноватых в войне. Без

всякой критики воспроизвел он всю аргументацию Антанты. Если Бетман пробовал заговорить в мирном тоне, то это потому, что он увидел, что желанная победа недостижима. Остальное в том же роде.

В этом же роде говорил и Брантинг. Разумеется не так глупо, как ван-Коль, но еще более дружественно в отношении Антанты.

Потом были прения о делопроизводстве в конференции. В качестве нашего председателя, Эберт возражал против намечавшегося порядка. Что такое конференция; судилище или собрание, призванное подготовить согласие? В первом случае мы желаем наперед со всею возможною ясностью заявить, что мы явились не в качестве обвиняемых. На обвинительные речи обоих руководителей конференции Брантинга и ван-Коля, мы разумеется, ответим. Что будет дальше, будет видно. С этим согласились все. Когда следующее заседание? Брантингу завтра некогда, он выступает в риксдаге с интерpellацией. Кроме того Штаунингу настоятельно нужно быть в Копенгагене. Таким образом следующее заседание состоится лишь 6-го июня.

5-го июня наша делегация подробно обсудила положение. Давиду было поручено составить доклад по вопросу о вине, детально им изученному, и выступить в ближайшем заседании с беспощадным опровержением ван-Коля и Брантинга. Давид употребил на свою работу всю вторую половину дня 4-го июня и первую 5-го. Произнесение его речи перед делегацией заняло около 2 часов, хотя он пропускал все цитаты. Мы посоветовали ему внести некоторые сокращения, отчего речь должна была выиграть.

7-го июня 1917 г. Давид блестяще справился со своей задачей. Через полчаса после начала его речи

Брантинг ушел, потому что ему надо было быть в риксдаге. Давид говорил от 10¹/₂ до 1 часа с небольшим и занял таким образом все заседание. Он доказал, что война была подготовлена с неизбежностью „синдикатом для раздела мира“. В качестве империалистической державы Германская империя—бедная сирота в сравнении с Англией и т. д. Затем дипломатический вопрос о войне: судя по ставшим ныне известными документам положение Германии в этом вопросе блестяще. Аргументация у Давида была мастерская и произвела сильное впечатление. Трелстра в качестве председателя выразил это впечатление, сказав, что он восхищается речью товарища Давида, произведшей столь глубокое впечатление.

После нескольких бледных замечаний ван-Коля мы разошлись для того, чтобы на следующий день—буде Брантинг этого пожелает—открыть прения по речи Давида или перейти к обсуждению анкеты.

Вчера после обеда было заседание делегации, в котором была рассмотрена анкета и назначены ораторы для отдельных секций.

Сегодня утром с 10 часов заседание под председательством Трелстры. Мы обсудили „технику“ анкеты, и стали задавать различные затруднительные вопросы. Например, в анкете говорилось о Бельгии, Эльзас-Лотарингии, Северной Силезии и т. д. В связи с этим мы подробно осведомились об Ирландии, Египте, Индии, Марокко, Триполи, Мальте, Гибралтаре и пр. и д. Либо, аргументировали мы, при заключении мира должен быть произведен передел всего света, тогда необходимо упомянуть и о названных нами областях, либо речь идет лишь о тех областях, которые с войною „приведены в движение“ или пережили перемену властителя, но тогда без дальнейшего выбывают Эльзас-Лотарингия и Силезия. Лицо

Брантинга приняло раздосадованное выражение. Однако никто не мог поколебать логики наших рассуждений. В заключение к анкете был прибавлен вопрос, возбужденный мною в докладе, а теперь поставленный с новой настойчивостью: что вы сделали до сих пор (вопрос был обращен к каждой из секций) для достижения социалистического мира? С нашим собранием документов не могла поспорить ни одна социалистическая партия.

Вслед за этим делегация поручила Давиду и мне составить краткий отчет для газет, который давал бы некоторую ориентировку в наших речах. В 5 ч. наш отчет был заслушан делегацией, в 6—конференцией.

8 июля 1917 г. Давид и я приготовили отчет к 5 часам дня, он был принят с самыми небольшими изменениями. Затем Эберт, Фишер и я пошли в Центральное Бюро Мира для того, чтобы представить отчет Комитету. Присутствовали все члены Комитета, кроме ван-Коля. Последовал обмен мнений, в котором участвовали главным образом Брантинг и Трелстра на одной стороне, мы трое на другой. От нас требовали, чтобы в отчете не осталось ничего, что указывает на наши разногласия с членами Комитета. В конце отчета была отмечена „произведшая сильное впечатление“ речь Давида. Брантинг и Трелстра потребовали, чтобы это было опущено, так как иначе возникнет подозрение в недостаточной объективности членов Комитета. Я возразил, что, хотя я был знаком со всем материалом, который использовал Давид, однако, речь его произвела и на меня глубокое впечатление. Тогда, прерывая меня, Штаунинг воскликнул с раздражением: „на меня тоже, я не возражал бы, если бы здесь было сказано: речь произвела сильное впечатление на Штаунинга и Шейдемана“. Трелстра было во

время этих споров не по себе, потому что именно он, в качестве председателя, выразил после речи Давида свое восхищение ею. Едва ли он мог бы это сказать, если бы речь не произвела на него впечатления. Я согласился на сокращение отчета, заметив, что мне важно не то, чтобы сильные впечатления прямо констатировались, а то, чтобы они долго сохранялись.

Товарища Брантинга мы успокоили в конце концов тем, что подчеркнули, что отчет будет неофициальным communiqué Комитета, сообщением германской делегации или, может быть, даже частного корреспондента „Форвертса“. Согласились на той редакции, в какой отчет был вечером сообщен по телефону товарищем Баане редакции „Форвертса“.

10 июля 1917 г. Давид, Мюллер и я получили почетное поручение составить проект меморандума в ответ на анкету. Др. Давид отвечает на вопрос 1, Мюллер на вопрос 2, я на остальное плюс поставленный нами вопрос. Я довольно легко справился с работой: сделал ее вчера днем в полтора часа, от 12 до половины второго. Давид — вчера и сегодня утром. Мюллер просидел весь вчерашний день. В 11 ч. утра обсуждение нашего проекта. У Давида кое-что вычеркнули; у Мюллера тоже; я прошел довольно благополучно. В виду доводов Давида я должен был отказаться от своего вступления.

Стокгольмский меморандум.

На предложенную анкету и вопросы, поставленные ей в различных заседаниях, германская делегация дала следующий ответ:

I.

„Германская социал-демократия стремится к миру на основах соглашения. Требуя гарантий свободы политического, хозяйственного и культурного развития своего народа, она осуждает в то же время всякое насилие над жизненными интересами других народов. Только такой мир несет в себе залог своей прочности, только он открывает народам возможность превозмочь атмосферу враждебной напряженности и отдать все свои силы на служение социальному прогрессу и высшей национальной и общечеловеческой культуре.

Согласно с этой общей целью, мы согласились с резолюцией петербургского совета рабочих и солдатских депутатов о мире без аннексий и контрибуций на основе национального самоопределения. Отсюда и следующая наша позиция в отдельных вопросах:

1. *Аннексии.* Мы противники насильственных приобретений территории. При изменении границ по взаимному согласию, заинтересованному населению, поскольку оно не желает выбывать из прежнего государственного союза, должна быть предоставлена правовая и экономическая возможность эмиграции.

С отрицанием всяких насильственных аннексий, разумеется, связано и требование возвращения отторгнутых колоний.

2. *Контрибуции.* Понуждение к уплате контрибуций должно быть отвергнуто. Его можно было бы осуществить лишь после полного разгрома одной из воюющих сторон. Но с каждым днем продолжающейся борьбы настолько возрастает сумма имущественных жертв и количество пролитой крови, что

уже по этой причине затягивать войну для того, чтобы вырвать контрибуцию, преступно. Кроме того, экономическое порабощение одного народа другим сделало бы невозможным длительный мир.

3. *Восстановление.* Поскольку настоящий вопрос имеет в виду политическое восстановление, то-есть восстановление политической независимости, на этот вопрос надлежит ответить утвердительно.

Напротив, мы принуждены высказаться против мысли об одностороннем обязательстве к восстановлению разрушенного имущества в охваченных войной местностях. Разрушения, причиненные на всех театрах войны отечественными войсками, так же, как и неприятельскими, при наступлениях так же и как и при отступлениях, отчасти служили посредственным мероприятием в интересах военной безопасности. Последующее установление происхождения того или иного разрушения и исследование его стратегической обоснованности представляется нам чрезвычайно трудным. Односторонняя обязанность к возмещению убытков была бы ничем иным, как замаскированной контрибуцией.

Государствам, которые не в состоянии собственными силами восстановить свою хозяйственную жизнь, разрушенную войною, может быть отказана международная финансовая помощь на началах взаимного соглашения.

В общем мы, социалисты, считаем разрушение частного имущества наименьшей частью причиненного вреда. Величайший ущерб, понесенный человечеством, ущерб в миллионах человеческих жизней, в рабочей силе и человеческом счастье—этот ущерб возмещению не поддается.

4. *Право народов на самоопределение.* Мы понимаем под правом народов на самоопределение право

их на сохранение или утверждение вновь своей политической независимости. В качестве первой группы в связи с этим вопросом выступают государства, которые, как Бельгия, а также Сербия и другие балканские государства, потеряли в этой войне свою независимость. Мы—за восстановление независимой Бельгии. Бельгия не должна быть вассалом ни Германии, ни Англии, ни Франции.

В отношении Сербии и других балканских государств мы присоединяемся к сказанному нашим австрийскими товарищами.

Вторую группу народов, заинтересованных в праве на самоопределение, образуют те народы, которые, не будучи до того политически независимы, вследствие войны оказались освобожденными от чужого владычества. Сюда относится часть Польши и Финляндия. Им не может быть отказано в праве на самоопределение. Другим иноплеменным областям, поскольк не ставится вопрос о политической независимости, должна быть по крайней мере дана автономия для обеспечения развития национальной жизни.

Третью группу образуют некогда независимые народы высокой культуры, которые, став прежде жертвой империалистического подчинения, не испытали изменений в государственной правовой принадлежности и в настоящую войну. Сюда относятся: Ирландия, Египет, Триполи, Марокко, Индия, Тибет, Корея и другие некогда самостоятельные государства. Германская социал-демократия живо сочувствует стремлению этих народов к восстановлению своей национальной свободы и приветствовала бы социалистов тех стран, которые владычествуют над этими народами, если бы они подняли свой голос за освобождение этих народов от гнета чужого владычества.

5. *Национальная автономия.* Поскольку под ней

разумеют культурную автономию включенного в состав большого государства населения, говорящего на чужом языке—германская социал-демократия, согласно со своей прежней позицией, будет и ныне выступать за ее широчайшее предоставление.

В составе германского государства в таком положении находятся наши граждане, живущие в Силезии, Познани и восточной Пруссии, также в Эльзас-Лотарингии и говорящие на датском, польском и французском родных языках. Мы жесточайшим образом осуждаем всякое стеснение в пользовании родным языком, так же как и всякое ограничение свободного развития национальных особенностей и национальной культуры. Части наций, включенные в состав чужих государств, должны были бы служить не препятствием к взаимным добрососедским отношениям, а мостом, который сближал бы народ с народом и культуру с культурой. Введение подлинного демократического строя облегчит достижение этой цели.

Что касается отношений различных национальностей внутри австро-венгерского государственного союза, то мы в этом вопросе присоединяемся к сказанному нашим австрийским товарищем.

6. *Эльзас-Лотарингия.* Что касается Эльзас-Лотарингии, причисленной анкетой Комитета к национальностям, то прежде всего следует сказать, что Эльзас-Лотарингия никогда не была национальным самостоятельным государством, а равно не может рассматриваться в качестве особой нации. По этнографическому составу т. е. по происхождению и языку почти 9/10 населения Эльзаса-Лотарингии принадлежат к германской национальности. Всего для 16% населения родным языком является французский.

Не относится Эльзас-Лотарингия и к тем местностям, которые в ходе войны попали под новое владычество; за исключением узкой пограничной полосы Эльзас-Лотарингия по-прежнему входит в состав германской территории. Таким образом выдвигаемый вопрос о государственной принадлежности Эльзас-Лотарингии не оправдывается и с этой точки зрения.

По природе своей, с точки зрения государственно-правовой и этнографической, германские части Эльзас-Лотарингии были, в свое время, вместе с другими областями отторгнуты Францией от германского союза, путем принудительной аннексии. Франкфуртский мир 1871 г. вернул их к первоначальному положению. Таким образом совершенно неоправдаемы указания на историческое право Франции на эти области. Вынужденное путем насилия возвращение Эльзас-Лотарингии было бы ничем иным, как аннексией, и притом в значительной части аннексией Францией населения, говорящего на чужом языке. Она должна быть отвергнута, исходя из основного принципа о мире без аннексий.

Германская социал-демократия требует полного равноправия Эльзас-Лотарингии, в качестве самостоятельного союзного государства, - внутри Германской империи, также как свободного демократического строя ее внутреннего законодательства и управления.

Она указывала на это в резолюции Иенского партейтага 1913 г., предложенной эльзас-лотаринским товарищем. С разрешением эльзас-лотаринского вопроса, в смысле государственного равноправия и широчайшей внутренней автономии, были согласны перед войной и французские товарищи по партии. Это разрешение соответствует также еще недавно неоднократно изъясленным желаниям эльзас-

лотаринского представительства, избранного всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием. Само собою разумеется, что принцип мира без аннексий не исключает дружественных соглашений об исправлении границ, где бы таковые ни находились.

II.

Основные черты международных соглашений. Право каждого народа на политическую независимость и свободу хозяйственного развития, соответствующую с правомными интересами всех народов, может быть прочно обеспечено лишь в том случае, если в мирных договорах удастся установить основные начала будущего международного права. Тогда задачей следующих мирных лет будет разработка на однородных началах, в интернациональном духе, права государственного, рабочего, гражданского и торгового с целью создания все более тесного, правового, хозяйственного и культурного союза народов.

1. *Международные правовые постановления* уже в положениях о целях войны установлены комитетом социал-демократической партии и фракцией рейхстага 16 августа 1915 г. Достижение мира, прочно обеспеченного международными правовыми постановлениями, было признано высшим нравственным велением.

Согласно резолюциям международного социалистического конгресса в Копенгагене 1910 г. мы в частности требуем от мирного договора:

Признания международного третейского суда, которому, обязательно, передавались бы все споры между отдельными государствами.

Создания надгосударственной правовой организации, для воспрепятствования нарушений международных договоров.

2. *Разоружение и свобода морей.* В мирном договоре должны быть включены соглашения об ограничении вооружений сухопутных и морских. Целью соглашения должно быть создание народной армии для защиты страны от военных нападений и насильственного подавления. Сроки службы для военных разного рода оружия должны быть мирным договором по возможности сокращены.

Допустимые средства войны должны быть договором ограничены в числе. Военная промышленность должна быть государственна. Снабжение воюющих оружием и снаряжением со стороны нейтральных государств должно быть воспрещено. Призовое право должно быть упразднено. Вооружение торговых судов должно быть воспрещено международным соглашением. Важные для мировой торговли морские проливы и междуокеанские каналы должны быть поставлены под международный контроль.

Для обеспечения мировой торговли во время войны должны быть созданы действительные гарантии. Понятие контрабанды должно быть установлено международным соглашением. Продовольствие и сырье для производства одежды должны быть исключены из контрабанды. Частная собственность должна быть обеспечена от посягательств воюющих, почтовые сношения воюющих государств с нейтральными во время войны, так же как и нейтральных между собою, должны быть обеспечены. Понятие блокады должно быть установлено заново.

3. *Хозяйственный и политические вопросы.* Для того, чтобы не препятствовать возобновлению сближения народов, в мирные договоры должны быть включены постановления, гарантирующие против продолжения войны в виде войны экономической.

Мирные договоры должны восстановить свободу передвижения на суше и на море.

Система охранительных пошлин должна быть переработана. В мирные договоры должен быть включен пункт о наибольшем благоприятствовании. Торгово-политической целью должно оставаться упразднение всех таможенных и стесняющих оборот ограничений.

В колониях должен быть установлен режим „свободных дверей“ т. е. равного права всех народов на хозяйственную деятельность.

Право эмиграции из одного государства в другое, право коалиций, охрана труда, страхование рабочих, охрана женского, детского и домашнего труда должны быть организованы согласно программе, опубликованной международным профессиональным союзом.

4. *Упразднение тайной дипломатии.* Мы требуем подчинения всех государственно-правовых договоров и международных соглашений демократическому контролю народных представителей.

Практическое осуществление целей.

Обращаемся к вышеизложенным пунктам 1 и 2. В интересах скорейшего мира нам представляется настоятельно необходимым прежде всего обстоятельно обсудить хозяйственные и политические вопросы. Особые комиссии для изучения отдельных вопросов несомненно весьма ценны для подготовки плодотворного обсуждения экономических и социальных проблем. Не следует однако забывать, что для международного социализма важно возможно скорейшее заключение мира. Мир же, на началах соглашения может быть, по нашему убеждению, заключен на

основе формулы: „без аннексий и без контрибуций“, не требуя предварительного изучения условий его особыми комиссиями.

Работа Интернационала. Европейские нейтральные государства больше или меньше задеты войной. Все они заинтересованы в скорейшем мире. Поэтому они должны быть привлечены к участию в разрешении заново хозяйственных, социально-политических и правовых вопросов международного характера.

Содействие выборного народного представительства разумеется само собою. В виду опыта, который до сих пор дала пролетариату всех участвующих в войне стран работа парламентского большинства, эта работа будет постольку содействовать прекращению войны, поскольку социалистические партии будут всеми доступными им средствами влиять как на правительства, так и на свои парламенты в пользу ближайшего заключения мира.

Тем самым с достаточною полнотою разрешаются и дальнейшие вопросы о сотрудничестве Интернационала в течение мирных переговоров. Влияние социалистических партий на правительства, на народные представительства и на официальную мирную конференцию должно усиливаться во всех участвующих в войне государствах.

Работа социалистических партий в пользу мира. Здесь мы переходим к вопросу, который был включен в анкету 7 июня по предложению германской делегации: отчет каждой партии о своей деятельности в пользу мира.

Президиум германской социал-демократической партии издал „Собрание деклараций, воззваний и речей, произнесенных в рейхстаге“, изображающее позицию партии в отношении войны и целей мира.

В этом собрании актов дано доказательство тому, что, стоя в принципе, как и все другие социал-демократические партии, на почве обороны страны, германская социал-демократическая партия с первого дня войны работала в пользу мира и не знает иных предпосылок для мира на основах соглашения, кроме готовности к такому миру со стороны противника. Но приведенными в „Собрании“ парламентскими речами, обращениями, резолюциями мирная деятельность германской социал-демократической партии не ограничивалась. Она устраивала в различных частях государства собрания, посвященные вопросу о мире, раздавала и предлагала подписывать петиции, в которых осуждались всякие планы завоевания и предъявлялось к правительству требование выразить готовность к миру.

Эта работа в пользу мира сопровождалась большим успехом. Напротив, безуспешны были попытки германской социал-демократической партии вновь скрепить оборванную нить общения с социалистическими партиями Англии и Франции.

Работа в пользу мира обещает успех только в том случае, если будет вестись одновременно на обеих сторонах. Это могло бы произойти и, по нашему мнению, давным-давно должно было произойти без того, чтобы одна сторона предъявила к другой требования, равнозначущие требованию предать интересы своего народа. Мы должны повторять на все стороны, что на нас лежит единственно обязанность защищать свой народ, но отнюдь не задача карать другие народы за действительную или мнимую вину их правительств.

В этом направлении германская социал-демократическая партия и вела неустанную работу.

Обще-социалистическая конференция. Мы готовы без оговорок к участию в обще-социалистической конференции, ибо считаем естественной обязанностью каждого социалиста работать в пользу мира. Обсуждение работы социалистических партий будет значительно упрощено, если каждая секция представит в установленной нами форме документы, относящиеся к ее деятельности в пользу мира.

Обсуждение вопроса о вине в возникновении войны, от которого мы не уклоняемся, не может на наш взгляд служить цели, для которой созвана конференция. Дело не может идти о том, чтобы спорить о прошлом; гораздо важнее договориться о будущем, а именно о скорейшем достижении прочного, соответствующего нашим принципам и идеалам, мира.

Против участия всех партий социалистического меньшинства мы не возражаем.

Стокгольм, 12 июня 1917 г. Делегация германской социал-демократии Фр. Эберт, Шейдеман, Герман Мюллер, Молькенбург, Эд. Давид, Р. Фишер, Зиссенбах, Г. Бауер, К. Легиен.

„Живой француз“.

12 июня я узнал, что наш мирный комитет посетил французский товарищ по партии, по фамилии Лафон, который беседовал при этом с Адлером. По словам Нины Банг, выдающейся датской социалистки, переданным мне Эбертом, Лафон готов был переговорить со мной. Это показалось мне почти неправдоподобным. Я пошел в Гранд-Отель, чтобы подробнее осведомиться у Адлера. Я застал его в плачевном состоянии; он лежал в кровати, одетый в кальсоны и две куртки, одна поверх другой, неподвижно, как мертвый. Я несколько раз стучал, открывал и

закрывал дверь и наконец решился довольно шумно войти в комнату. Наконец, Виктор открыл глаза. Он несколько не удивился моему присутствию и тотчас же начал бормотать что-то, чего я не мог разобрать. Наконец, с усилием, я расслышал следующее: его просили по телефону прийти в Бюро, так как есть случай повидать „живого француза“. Потом дальше: Лафон очевидно остроумный француз, но вряд ли он в тесном сплочении с рабочими. Он совсем глупо говорил о необходимости продолжать войну эвентуально еще три года до тех пор, пока Страсбург будет в руках французов.

Когда Адлер раскрыл ему глаза и сказал ему, между прочим, что в Германии никто не склонен отдавать Страсбург, то Лафон несколько смягчил свои взгляды и стал сообразительнее. Он женат на русской. Вместе с женой он присоединился к депутатам Кашену и Монте и поехал с ними в Россию, откуда теперь возвращается. При обсуждении предмета нашей стокгольмской конференции, он выражался с осторожностью, доступной единственно парижскому адвокату, каковым является в действительности; при этом он, по собственной инициативе, обещал еще поговорить с Шейдеманом. Затем Адлер рассказал, что он стал относиться очень пессимистически к Стокгольму; дело не двигается, он то и дело ходит в Бюро задавать головоломку членам комитета, но это несколько не помогает. Тем не менее он считал бы большой ошибкой, если бы мы, как это уже решено, уехали все до Мюллера включительно. Если не все, то хотя бы некоторые товарищи должны остаться здесь, иначе вся история замрет. Весь мир смотрит на Стокгольм. Чтобы теперь ни произошло в вопросе о мире, народы будут считать, что это произошло под давлением Сток-

гольма. (В газетах сообщают, что австрийские офицеры явились в русские окопы в качестве парламентариев). Если же все произошло бы вследствие отказа англичан и французов, то, выдержав все здесь до последней крайности, мы были бы свободны от всякой ответственности.

Я поспешил в заседание нашей делегации, чтобы информировать ее. Там я узнал, что госпожа Банг приходила с известием об отъезде Лафона и его жены: оставшись, они не попали бы на нужный пароход. Вероятно, из беседы с Лафоном самой по себе ничего и не вышло бы. Мы обсудили и приняли редакцию письма к петербургскому совету рабочих и солдатских депутатов, которое брался доставить стокгольмский представитель совета. С этим представителем я познакомился, прощаясь перед уходом из комнаты Адлера.

„Без аннексий“—для всех, кроме нас.

В тот же день после обеда у нас было заседание вместе с мирным комитетом, в котором мы в течение двух часов говорили единственно об Эльзас-Лотарингии. Юристом были ожидаемые стычки между Брантингом и ван-Кодем. Мы решительно отстаивали свою точку зрения и ссылались на наш ответ, данный на письме, от этого мы не отступали.

Чрезвычайно занятый обязанностями редактора газеты и депутата, Брантинг ушел и не слышал речи Трелстра.

13-го июня утром снова было официальное заседание (снова без Брантинга), обсуждался наш меморандум. Прежде всего „Бельгия“. Введенным была речь Камила Гюисманса.—Отвечал Давид. Затем

говорил ван-Коль и говорил так вызывающе, что я едва сдерживал гнев.

Когда я попросил слова, товарищ Банг протянула мне через стол записку: „только, пожалуйста, не горячитесь, товарищ Шейдеман“. Я старался не горячиться, но это удалось мне не вполне. „Стоит нам только очистить все занятые нами области, уплатить всему миру контрибуцию, обречь нашу страну на длительное политическое и хозяйственное бессилие и т. д. —и нам тотчас простят, что мы не пожелали 4 августа 1914 года начать прямо с государственной измены в высокую честь французского и английского капитализма и русского царя“. Я подчеркнул смысл формулы „без аннексий и без контрибуций“ и в сотый раз указал на то, что этот принцип должен быть обязателен для всех.

Трелстра снова говорил, причем он не сказал против меня ни слова, за то жестоко отчитал своего друга и земляка ван-Коля. Не считая небольших стилистических изменений, мы не отступили от своей редакции.

14 июня 1917 г. Заседание с комитетом. Брантинга снова нет. Снова долгие споры о меморандуме. Мы не отступаем от своей редакции, делаем уступку лишь в пункте констатирования военных убытков: вместо „считаем невозможной“ соглашаемся сказать: „считаем необычайно трудной“. Да еще в эльзас-лотарингском вопросе, по желанию товарища Банг, еще раз подчеркнули слово „автономия“.

Затем были обычные благодарственные речи. Эберт благодарил Бюро, Трелстра—нас. При этом Трелстра дал понять, что стоит на нашей точке зрения. На наш вопрос, он ответил, что если Бюро постановит предпринять поездку в Петербург, он примет в ней

участие. Он сказал также, что намерен содействовать возможному приближению поездки.

У шведского министра иностранных дел.

Этим закончились работы предварительного совещания, а если следовало верить пессимистам—и работы конференции. Большая часть товарищей по партии уехали. Давид, Мюллер и я остались только для того, чтобы не отнимать у рабочих всего мира всякую веру в социалистическую совесть товарищей по партии в странах Антанты и не давать этим последним отделяться в будущем дешевым указанием на то, что мы прервали переговоры.

Несколько дней, еще проведенных нами затем в Стокгольме, принесли две значительные беседы, о которых я хочу упомянуть. Первая была со шведским министром иностранных дел, который перед отъездом пригласил меня к себе через нашего товарища по партии Линдквиста. Я охотно принял это приглашение и 14 июня отправился в министерство иностранных дел, где меня приняли очень любезно.

„Довольны ли вы своей миссией и как вы справились с вашим товарищем. Брантингом?“ „Моя миссия еще не окончена; с Брантингом мы вели переговоры по-товарищески, он явно старался быть объективным, хотя...“ Министр: „Хотя он совершенно на стороне Антанты“.

Мы долго беседовали о войне и мире, императоре Вильгельме, об изменении конституции и т. д. Он уверяет, что вполне согласен со мною в вопросе о вине. Он не верит больше, чтобы война была окончена раньше истечения года. Антанта вероятно с определенностью рассчитывает на революцию в Гер-

мании и потому затягивает войну. Вмешательство во внутренние дела Германии абсолютно недопустимо.

Затем он рассказал, как в 1908 году два часа беседовал с Вильгельмом II; при этом император был так откровенен, что он должен был обратить на это его внимание, тогда Вильгельм II сказал: „Таков мой характер. Если я кому-либо доверяю, то доверяю абсолютно. Я должен положиться на вас.“ Линдеман сказал, что Вильгельм говорил настолько откровенно, что он, Линдеман, не все мог потом передать своему королю. „Вы не должны однако ошибаться: Вильгельм проявил себя совершенно „свободным“ и придавал важнейшее значение тому, чтобы не было сомнений в его миролюбии“.

Я между прочим, сказал: Антанта глубоко ошибается, если рассчитывает на революцию у нас во время войны. На мой взгляд это возможно только при условиях, которые я изобразил в мае этого года. Он согласился со мной и в этом и в отношении к продовольственному кризису в Германии.

Потом он изобразил тяжелые последствия войны для Швеции: невозможность подвоза, созданная Англией, мины, заложенные Германией. При этом он с удивительной объективностью оценивал подводную войну. Он постоянно отвечал и Брантингу: если вы установите хронологическую последовательность событий, вы должны будете согласиться, что в этом виновата Англия. Он добавил: „В день последнего потопления шведских пароходов стокгольмская пресса невероятно неистовствовала по поводу Германии. Затем я, не откладывая, пригласил в этот зал редакторов газет и сказал: вы за целый день достаточно накричались против Германии, теперь будьте любезны указать нам завтра согласно с истиной, как дело обстоит в действительности“.

Обо всем этом он говорил, совершенно не скрывая своего расположения к Германии. „Министерство Брантинга было бы теперь несчастьем для нашей страны“. Я направил беседу на возможность мирного посредничества нейтральных держав. Он: „Такая возможность была, пока Америка не участвовала непосредственно в войне“. Потом он стал критиковать американскую политику, где господствует доллар. При этом он сослался на свое знание Америки. „Все рассчитывается на доллар“. По поводу целей войны, которые ставит себе Германия, он сказал, что считает несомненным, что имперское правительство честно желает мира и не думает о продолжении войны для приобретения территории. Кто не рассуждает явно пристрастно, тот должен признать, что канцлер не мог публично сказать больше, чем он сказал.

Швеция соблюдает в отношении Германии благожелательный нейтралитет. Он попросил меня разъяснить ему различие между моими товарищами и сторонниками Гаазе. Я постарался ответить совершенно объективно, опираясь на факты. Он абсолютно не мог понять отказа в средствах обороны собственной стране, находящейся в таком тяжелом положении. Повторяя уверения в том, что Швеция постарается впредь помогать Германии, поскольку это возможно, он протянул мне руку. Беседа длилась более часа.

Après la guerre.

Последний день в Стокгольме принес мне—правда, не непосредственную—встречу с Альбертом Тома, который возвращался из Петербурга. Госпожа Банг, которая виделась с ним, сообщила мне свой разговор с ним. Я записал следующее:

18 июня. По словам госпожи Банг, Тома в ярости по поводу нашего меморандума, особенно по поводу тех мест, которые относятся к Эльзас-Лотарингии. Он говорил, как человек, который ничего не понимает ни в социализме, ни в политике—как министр военных снабжений и только. Когда госпожа Банг спросила его, должна ли война из-за Эльзас-Лотарингии, до сих пор не завоеванной, продолжаться до бесконечности, то он ответил: война продолжается, мы не можем иначе. Госпожа Банг была в полном отчаянии. Она говорила по телефону с Штаунигом, который был в Копенгагене, и пригласила его сюда. Я говорил с Штаунигом тотчас по его приезде. Между прочим, Тома заявил вчера госпоже Банг, что он готов поговорить с Штаунигом, несмотря на то, что их последняя встреча наделала во Франции много шума. Сегодня утром Тома дал знать Штаунигу, что желает его видеть за завтраком, на котором будут также Брантинг и Гюисманс. Значит он хочет говорить с Штаунигом не иначе как в присутствии Брантинга. Давид, Мюллер и я еще раз подробно говорили с Штаунигом об Эльзас-Лотарингии, причем подчеркивали значение нашего меморандума об аннексиях вообще и об Эльзас-Лотарингии в особенности.

19 июня 1917. Штауниг и госпожа Банг сообщили нам свою беседу с Тома. После завтрака за кофе им представилась возможность поговорить с Тома наедине. Нового он не сказал, собственно, ничего: Эльзас-Лотарингия это Франция; наша ссылка на статистические данные, на то, что 90% населения говорит по-немецки, не доказывает, что население думает и чувствует по-немецки. Во Франции знают, что эльзас-лотарингцы хотят возвращения к Франции и т. п. После целого ряда беспорядочных

замечаний, он упомянул, однако, об „arbitrage obligatoire après la guerre“. Госпожа Банг и Штаунинг вынесли впечатление, что, зарвавшись в вопросе о Эльзас-Лотарингии, французы ищут моста, чтобы теперь обойти его. Таким образом третейский суд после заключения мира должен был решить, подлежит ли вопрос об отнесении Эльзас-Лотарингии к Франции или к Германии решению плебисцитом. Госпожа Банг влюбилась в мысль о соответствующем предложении с нашей стороны. Я возражал против этого. Давид думал, что кто-нибудь третий, может быть, Деренбург или Бернсторф—должен пустить во все стороны пробные шары для выяснения формы, в которой вопрос был бы приемлем для обеих сторон. Правда, это бессмыслица поднимать снова такой вопрос после войны. Но так как после войны ни один человек не поставит вопроса о том, следует ли играть опасностью новой войны, то, может быть, удастся достигнуть соглашения и выйти из положения. Самое скверное для французов это, конечно, вопрос престижа.

Мы разошлись с намерением обдумать выход из создавшегося положения. В 6 часов Гюисманс снова пригласил меня к себе. Тома был очень тверд, но легко понимал. Тотчас по приезде в Париж он добудет паспорта для социалистов.

В 6 часов вечера я уехал со Штаунингом в Копенгаген, где в среду снова обстоятельно беседовал с графом Ранцау.

Путь к революционной России.

Приветствие революции. — Поездка Боргбьерга в Петербург. — Давид должен повидаться на восточном фронте с рабочекрестьянским депутатом. — Отчет Боргбьерга. — Брест-Литовск. — Герцог Курляндский. — Соперничество германских князей.

Поездка Боргбьерга в Петербург.

Само собою разумеется, что мы со страстным сочувствием приветствовали русскую революцию. Об этом свидетельствовала и резолюция президиума партии, принятая незадолго до Стокгольма. Мы выразили свои чувства также в телеграмме на имя Чхеидзе и Петербургской Думы. В Стокгольме мы твердо рассчитывали встретиться с русскими товарищами и потому горячо встретили сообщение о намерении нашего датского товарища, депутата Боргбьерга, предпринять поездку в Петербург с целью информации. Сообщение это было получено 4 апреля 1917 г., т. е. в самом начале приготовлений к конференции. Мы знали, что оно означает, и тотчас же решили дать Боргбьергу поручения. Бауэр, Эберт и я поехали в Копенгаген. Пришлось впопыхах добывать паспорта. Чтобы получить их, пришлось откровенно сказать министру иностранных дел, с какою целью предпринималась поездка. Циммерман

сиял от радости. Он желал нам счастливого пути и успеха. Со свободной Россией, заметил он, мы можем сговориться совершенно по-иному. Но кто гарантирует прочность свободы?

В Копенгагене мы тотчас повидались с Боргбьергом и изложили ему во всех подробностях свои заботы и жажду мира. Боргбьерг отличный человек, знающий, как тяжело у нас дома—он хорошо сделал свое дело. Известия, вскоре полученные от Боргбьерга, были для нас источником величайшей тревоги, ибо мы знали, как ужасно бурлит в Берлине под обманчивым внешним покровом.

Давид должен повидаться на восточном фронте с рабоче-крестьянским депутатом.

Месяц спустя, 8 мая, возникла, казалось, новая возможность пустить пробный шар в Россию. Секретарь Циммерман пригласил к себе моего товарища по партии д-ра Давида и сообщил ему следующее: в Берлин телефонировали, что к армии Эйхгорна прибыли русские парламентарии, которые посланы, видимо группой петербургского совета рабочих и солдатских депутатов, действующей в его гласии с Чхеидзе. Парламентарии желают говорить с германскими социалистами, а также, видимо и „с другими парламентариями“. Поэтому Циммерман спросил Давида, не пожелает ли он эвентуально отправиться на восток и не может ли он назвать второго делегата из состава буржуазных партий. Давид сообщил об этом предложении Эберту и мне, причем сказал, что в разговоре с Циммерманом был назван Штреземан, в качестве второго и как бы сопровождающего депутата. Эберт возразил: „Эрцбергер“, я—„Науман“. Я был против Эрцбергера, по-

тому что его колебания справа налево казались мне несколько сомнительными. Напротив, Науман, как я выяснил накануне в разговоре с ним, в вопросе о целях войны стоит почти всецело на почве нашей формулы. Науман был бы совершенно подходящим человеком, сказал Давид, но он вместе с Науманом не будут представлять большинства рейхстага. Давид спросил Циммермана о целях войны. Циммерман: „Мы желаем договориться с русскими, так чтоб не было никаких контрибуций, и о соглашении об исправлении границ“. Давид возразил: „Это очень растяжимое понятие“. Циммерман: „Ну, что делать! Мы хотим договориться, мы хотим мира. Этого, я надеюсь, достаточно“. Я был удовлетворен этим признанием. Это было принятие нашей формулы, поскольку оно вообще было возможно.

Давид отправился на восточный фронт в сопровождении пользовавшегося общим уважением депутата, никогда не выступавшего агрессивно в политических вопросах, и, по полученным нами заверениям, умного и менее всего воинствующего человека. Из этой попытки пустить пробный шар, к сожалению, ничего не вышло, потому что скоро выяснилось, что рабоче-крестьянский депутат не имел никаких полномочий.

Отчет Боргбьерга.

Мы выслушали отчет Боргбьерга об его поездке в Петербург в Копенгагене, в квартире Штаунинга, где мы остановились по дороге в Стокгольм.

Предварительно мы беседовали о разных вещах, главным образом о новом взрыве трех шведских пароходов. Наши датские друзья указывали на непрекращающиеся ухудшения настроений в отношении Герма-

нии как в Швеции, так и в Дании. Я общал им в ближайшем времени поговорить об этом в Берлине.

Затем Боргбьерг доложил о своей поездке в Петербург. Его приняли очень хорошо. Он говорил сначала с Чхеидзе, который внимательно его выслушал и пригласил на заседание рабочих и солдатских депутатов. Когда он сказал Чхеидзе, что желает одновременно быть принятым также и Керенским, то оба были вполне удовлетворены. Оба выслушали с величайшим интересом его сообщения о беседе с Бауэром, Эбертом и со мной. Большая часть того, что он сообщил им о политике большинства в Германии, было для них ново, или, во всяком случае, предстало в новом свете. Когда он затем повторил свой отчет в заседании совета рабочих и солдатских депутатов, то ему был поставлен ряд вопросов. Так, например: „Согласен ли канцлер с тем, что сказал вам Шейдеман и его коллеги?“ На это он ответил: „Этого я не могу сказать, думаю, однако, что это так. Германские социалисты не являются правительственной партией, а также не составляют большинства в рейхстаге“. Следующий вопрос: „разделяют ли социал-демократическую формулу другие партии и круги?“ Он: „Без сомнения, немалочисленные группы вполне согласны с нашими формулами“. На это новый вопрос: „Это значит, что с вашими формулами согласны многочисленные группы?“ Он: „Между тем, что я сказал, и новым вопросом есть разница, однако, устранить ее я не могу“.

Затем он рассказал о подготовительных работах голландских и скандинавских товарищей и попросил принять участие в Стокгольмской конференции. Ряд вопросов в течение прений касался того, нужно ли считаться с возможностью революции в Германии.

На этот вопрос он ответил так: „Это очень мало вероятно; в течение войны революции, наверное, нельзя ждать, а после войны, это будет зависеть от ее исхода, во-первых, а во-вторых от отношения правительства к внутренним реформам, которых от него требуют“. Затем он обратил внимание на разницу между положением в России и в государствах Западной Европы. В России революция означает крайнее выражение стремлений широких кругов устранить положение, ставшее невыносимым. Так это было в Англии в революцию 17 века, во Франции и Германии в 18 и отчасти 19 веках. Для того, чтобы мысль его была совершенно ясна, он указал на Данию. В Дании политическая революция совершенно бессмысленна, потому что там действует демократическая конституция. Точно так же и в Германии, хотя многое еще требует исправлений, однако, революция, как в и Дании, может быть только социальной, направленной к полному преобразованию собственности на капиталистические средства. Революции же такого порядка, в течение времени, какое, вообще, поддается учету, ждать не приходится, и т. д.

Прения были содержательны и спокойны. В заключение ему сказали, что решение будет сообщено ему через несколько дней. Два дня спустя к нему явился представитель рабочих и солдатских депутатов и начал такими словами: „Ваша миссия удалась. Совет рабочих и солдатских депутатов решил, однако,—что за эти дни уже стало известно из газет — созвать сам конференцию. Таким образом, англичанам и французам будет облегчено участие“. Затем Боргбьерг сказал: „В совете рабочих и солдатских депутатов представлены все группы. Ленин не входит в совет, вообще же совершенно неправильно

говорить о большом и все возрастающем влиянии Ленина. Наоборот, его влияние очень не велико. Впрочем, Ленин уже сам изменил свои взгляды: оба крайние крыла, Ленин и Плеханов, наименее влиятельны. Достоинно внимания, что большевики (радикальное большинство) все более приближаются к меньшевикам (меньшинство, близкое к германскому большинству). Весьма достойно внимания также и то, что совет рабочих и солдатских депутатов одобрил новый военный заем (равносильно военным кредитам). Таким образом, признается оборона страны со всеми последствиями". На это я заметил: „Значит, русские социалисты занимают теперь позицию, которую мы занимали с самого начала: у нас есть что защищать, значит мы и защищаем“. Боргбьерг и Штаунинг, стоявшие на нашей точке зрения, горячо присоединились к этому замечанию.

Далее Боргбьерг подчеркнул, что, хотя в России не рекомендуется говорить по-немецки, однако, ненависти к Германии не заметно. Он, Боргбьерг, уверен, что, заняв так определенно враждебную всяким аннексионистским видам позицию, мы без труда договоримся с русскими.

Из этого отчета, который я записал немедленно, видно, насколько неправильны были сведения о влиянии Ленина, полученные Боргбьергом.

Брест-Литовск.

Полная надежд вначале, а затем полная скорбь глава военной политики, глава Россия—Германия, нашла себе завершение в Брест-Литовске. Там мог быть заложен прочный фундамент для создания всеобщего и подлинного мира, и, во всяком случае, могли быть установлены прочные дружественные отношения с Россией.

Политическая ограниченность, дипломатическая бесчестность и военное тщеславие не позволили этому осуществиться.

Роль социал-демократической партии в этом выдающемся акте германской политики была, к сожалению, отрицательная.

Со всей ясностью выступило здесь то могущество, которого могут достигнуть открытые и тайные сторонники аннексий, объединившись с руководителями военных кругов. Тем не менее „нет“, сказанное социал-демократической фракцией, отклонение мирного договора, внесенного в рейхстаг, имело бы, несомненно, глубокое значение и было бы единственным последовательным выводом из резолюции партии от 19 апреля, где мы объявили о своей „солидарности с резолюцией съезда русских советов рабочих и солдатских депутатов, о подготовке общего мира без аннексий и контрибуций, на основе национального развития всех народов“.

В социал-демократической фракции была жестокая борьба за утверждающее мир „да“ или за отклоняющее „нет“. Я решительно выступил за отклонение мира, однако, остался, как и во многих других случаях, в меньшинстве. Во всяком случае не собрало большинство и „да“, и, в качестве председателя, я должен был заявить в рейхстаге от имени фракции, что мы воздерживаемся от голосования.

„Герцог Курляндский“.

Я заканчиваю эти заметки о, к сожалению, не давших результата и мало плодотворных моих отношениях с революционной Россией—рассказом об эпизоде, одинаково характерном для нашей внутренней и внешней политики. Во внешней политике глупая

история с „герцогом Курляндским“ не могла, впрочем, испортить уже ничего. Для внутренней же характерно, что так называемые политики перед самым крахом могли еще набивать себе головы династическими авантюрами, что г. Людендорф в минуту, когда он начинал последнее, величайшее и самое кровопролитное наступление, не боялся выдвинуть свою отставку, в качестве козыря в этой интриганской игре. В то время, как моим друзьям и мне будущее представлялось безутешно печальным, император и его сторонники ломали себе голову над вопросом: как поскорее обеспечить за императором курляндское герцогство?

Поскорее герцогский титул и прочь Кюльмана! Таков был лозунг очень влиятельных людей первой трети января 1918 г. Из очень хорошего источника мне было в те дни — заметки датированы 7 января — сообщено следующее: положение теперь совершенно такое же, как перед падением Бетмана. Людендорф грозит отставкой, если не уйдет фон-Кюльман. Эту игру Людендорф ведет в то время, когда должно начаться под его руководством наступление на западе. Для введения в заблуждение общественного мнения используют те же пути, что и во времена Бетман-Гольвега: военную печать, Штреземана и т. д. Главное командование хочет создать впечатление, что фон-Кюльман желает больших аннексий, тогда как главное командование стремится только к маленьким исправлениям границ из стратегических соображений. В действительности политика главного командования таким образом прикрывается политикой большинства рейхстага.

Людендорф неоднократно заявлял: русские были бы согласны с исправлениями границ. Фон-Кюльман действовал будто бы нечестно, между прочим и в

том, что сделал попытку в Брест-Литовске подготовить общий мир, ссылаясь на Англию. Генерал Гофман был втянут фон-Кюльманом в заключение перемирия. Фон-Кюльман уговорил Гофмана, что он будет канцлером.

Соперничество германских князей.

Так ужасающе и смешно интриговали и лгали все время. Все во имя и в честь стоящего перед опасностью отечества. То, что мои друзья и я были, разумеется, далеко от всего этого вздора, не могло однако помешать тому, чтобы от времени до времени долетали и до нас отдельные брызги из этой кухни ведьм. Потому что из-за курляндского герцогства германские князья вцепились друг другу в волосы, а германские влиятельные парламентарии поддерживали их в этом. Не желая изображать эту борьбу во всех подробностях, я ограничусь несколькими заметками из дневника, которые говорят, впрочем, сами за себя.

10-го февраля 1918 г. Начальник кабинета герцога фон-Х. просил меня переговорить с ним. Барон фон У. рассказал мне, что его герцог, как и многие другие союзные князья, питают большие сомнения по поводу пропагандируемой личной унии: Курляндия—Пруссия. Императору неуместно быть в то же время герцогом Курляндским. Если бы положение сложилось так, что, став самостоятельными, курляндцы пожелали бы превратиться в монархию, то по его и его господина мнению, можно было бы говорить только об одном князе, который чему-нибудь учился и что-нибудь создал, будучи способным человеком, который справится и с теми серьезными обязанностями, которые там пред ним возникнут.

Он имеет в виду герцога Альфреда Фридриха Мекленбургского, которого он и его господин лично знают и который отличается выдающимся трудолюбием и деловитостью.

На мои возражения, которые мало удовлетворили барона, последний отвечал: он убежден, конечно, что я не стану заниматься пропагандой присвоения какому-нибудь князю титула герцога Курляндского, „но, может быть, возможно, в случае, если речь пойдет об этих вещах, несколькими замечаниями указать, что все же такой-то или иной лучше другого“.

Малая война в Берлине.

Возвращение из Стокгольма.—Никто не хочет видеть приближающейся катастрофы.—Революция в рейхстаге.—Удачная редакция Стокгольмского меморандума.—Циммерман о глупости главного командования.—Канцлер безутешен.—Социал-демократическая записка для главной квартиры.—Конституционная комиссия и правительственный саботаж.—Борьба за власть в армии.—Неправдивый военный министр.

Вернувшись из Стокгольма, мы не могли уйти от сознания, что конференция, как таковая, не удалась. Новая инициатива со стороны русских казалась нам сомнительной, а поведение Альберта Тома вызывало опасение, что со стороны Антанты участников не будет; если тем не менее мы говорили об окончании лишь предварительных переговоров и, разумеется, считали себя готовыми к главным переговорам в Стокгольме, то это больше всего вызывалось сознанием обязанностей перед народами и необходимостью не вызывать упреков в том, что мы со своей стороны содействовали разрыву.

Стокгольмская конференция была безрезультатна, потому что на нее поехали представители только одной стороны, социал-демократы срединных держав.

Атмосфера, которую мы застали дома, в Берлине, подействовала на нас, наконец, ознакомившихся с

заграничным общественным мнением поистине из первоисточника, совершенно удручающе. В печати и в буржуазной общественности ничто не указывало на сознание нашего отчаянного положения и даже буржуазные политические партии ничего не понимали в приближении катастрофы. Были, впрочем, и социал-демократические депутаты, которые совершенно не отдавали себе отчета в положении и все еще плыли по руслу упоенного настроения, созданного главным командованием и правительством в военной печати. Мои воспоминания о конституционной комиссии, которые я ввожу в настоящую главу, достаточно говорят о том, что высшие правительственные места и самые опытные парламентарии не умели приучить себя к мысли о внешнем и внутреннем крушении, слепо и упрямо занимались вздором, который в конце великой мировой войны оказался забытым в одно мгновение.

Показательным примером того, какими иллюзиями жил рейхстаг, служат прения в рейхстаге от 17 мая 1917 г., которые были вызваны интерпелляцией консерваторов и вращались вокруг резолюции президента социал-демократической партии, воспроизведенного Стокгольмской конференцией. Указывая на Стокгольм и ссылаясь на ход русской революции, я в своей речи сказал, между прочим: „Если бы ныне английское и французское правительства, как то уже сделало русское правительство, отказались от аннексий, а Германия вместо того, чтобы закончить войну путем такого же отказа, пожелала продолжать ее с целью завоеваний, тогда, милостивые государи, на это вы можете положиться: в стране произошла бы революция“.

Это указание не только взорвало президента Кемпфа, не только взволновало правительственные

верхи, но вызвало упреки со стороны некоторых моих товарищей по фракции, находивших мое заявление „политически неумным“ с точки зрения мелких фракционных интересов. Как если бы дело шло тогда об умном или неумном, а не о борьбе ясного понимания с простым нежеланием видеть окружающее.

Удачная редакция Стокгольмского меморандума. Циммерман о глупости главного командования.

Нашей первой задачей в Берлине было осведомить правительство о происходившем в Стокгольме. Уже 22 июня Эберт и я, по приглашению Ваншаффе, были в государственной канцелярии. Мы рассказали ее чинам, желавшим подготовить свое начальство к беседе с нами, то, что считали полезным сообщить им, и резюмировали рассказ о Стокгольме следующим требованием: ясное заявление о мире, никаких заявлений, которые допускали бы кривотолки со стороны или которые мы стали бы перстолковывать, а кроме того демократизация.

23-го Циммерман пригласил меня к себе. Запись в моем дневнике гласит: он поздравлял меня с удачной редакцией меморандума. „Вы отлично это сделали. Меморандум, действительно, прекрасная работа“. Я осведомил его о стокгольмской конференции и особенно остановился на замечаниях Тома об „arbitrage obligatoire après guerre“, сделанных им в разговоре с Штаунином и Банг. Он выслушал все с величайшим вниманием и заметил: „Это трудные, проклятые вещи. Мы должны основательно обдумать, что нам делать“. Я потребовал, чтобы он повлиял на канцлера для того, чтобы тот *абсолютно ясно* заявил о целях войны и занялся демократизацией, не так, как до сих пор. Я все больше убеждался в

том, что канцлер недостаточно силен по отношению к главной квартире.

Он: Это неверно. Все, что мы на Вильгельмштрассе можем сделать, делается, и император все цело на нашей стороне. При оценке действий канцлера нельзя забывать о пангерманистской травле: на месте Бетман-Гольвега желают видеть дикого генерала, на его, Циммермана, месте—Ревентлова.

Я: Ну, знаете: при диком генерале все было бы окончено в 14 дней по русскому образцу. Мы и без того сидим на бочке с порохом. Достаточно искры, чтобы остановились все заводы. Нужда больше, чем когда-либо, четвертой зимней кампании не хочет никто, в счастливый исход войны тоже не верит никто. Конец войне—вот лозунг. Это должны, обязаны знать вы и канцлер, и ваши эвентуальные преемники почувствовали бы это очень скоро.

Он несколько раз взмахнул руками, как если бы хотел сказать: ради Бога перестаньте. Затем он попросил, чтобы я сам прямо сказал все это канцлеру. А потом заговорил о глупости главного командования, которое бессмысленным и с военной точки зрения бесполезным бросанием бомб над Лондоном все усиливает настроение в пользу войны в Англии. Один из наших агентов, только что вернувшийся из Лондона, рассказывал, как там водили людей тысячами смотреть на жертвы последних бомб, и как благодаря этому безмерно возросли ненависть к нам и желание продолжать войну. Ближайшим последствием будет то, что Фрейбург, Штутгарт или другой немецкий город должен будет снова это испытать, женщины и дети принести новые жертвы.

Затем Циммерман рассказал мне, что накануне у него был Ледебур, которому также отказано в выдаче паспорта, потому что он, как и Адольф Гофф-

ман — втянут в процесс о государственной измене. Так как ему известны взгляды Ледебура на Эльзас-Лотарингию, как немецкую землю, то он попытался вытянуть у него соответствующее заявление. Но Ледебур уклончиво сказал, что между ним и его друзьями есть некоторые разногласия, но что он не может об этом говорить. Я со своей стороны считаю ответ Ледебура умным. Циммерман сказал Ледебуру, что он будет хлопотать о выдаче Ледебуру паспорта. „Ледебур всегда все-таки самый симпатичный из всех независимых, в сущности он забавный малый“. Я: „Как бы вы ни относились к Ледебуру, я настоятельно рекомендую вам достать ему паспорт. Вы должны дать паспорта и ему и всем, кто желает ехать в Стокгольм“.

Канцлер безутешен.

27 июня состоялось, наконец, свидание с канцлером. Господин фон - Бетман - Гольвег пригласил к себе д-ра Давида и меня. Здесь мы не ограничились простым отчетом о стокгольмских событиях и их результатах. Мы вернулись в Берлин с тем же решением, которое вело нас в Стокгольм: добиться мира, и воспользовались первым же случаем, чтобы представить ему картину ужасного внутреннего и внешнего положения страны.

Может быть, еще настойчивее обычного мы указывали ему на безнадёжное положение, в котором находится наше население. Он призвал нас почти во всем правыми, признал также, что наша позиция единственно последовательна и с нашей точки зрения, вероятно, единственно правильна. „Но, прибавил он, если бы вы могли назвать хотя бы одного французского социал-демократа, который стоял бы

на одной позиции с вами; если бы вы могли назвать хоть одного, мое положение было бы гораздо лучше во всех отношениях". Из слов канцлера мы поняли, что и ему положение представлялось прямо отчаянным. Очень подавленный, он попросил нас изложить все сообщенное ему сегодня в записке, которую он мог бы взять с собой в главную квартиру. В главной квартире впечатление было бы гораздо сильнее, если бы наши жалобы и предложения можно было представить изложенными черным по белому, чем если их будет воспроизводить канцлер. „Вы ведь оба пишете очень легко, составьте же записку немедленно, я поеду на-днях“. Я спросил его, может ли он дать нам время до субботы. На это он ответил: „Нет, это не годится, доставьте мне записку не откладывая, вы, наверное, составите ее до вечера четверга. Около шести-семи часов я поеду в главную квартиру“. Мы ответили, что сделаем все возможное и полагаем, что мы можем обещать доставить записку к условленному сроку. Мы сдержали слово. Воспроизвожу текст выработанной нами записки, которую подписали и за которую взяли таким образом на себя ответственность президиум социал-демократической партии также, как и фракция рейхстага:

„Его превосходительству господину имперскому канцлеру д-ру Бетман-Гольвегу.

Берлин.

Ваше превосходительство!

Забота о судьбе нашей страны обязывает нас сообщить правительству следующее:

Мы нижеподписавшиеся, президиум германской социал-демократической партии и социал-демократи-

ческой фракции рейхстага, находимся постоянно в теснейшем общении с населением всех частей государства, особенно с немущими слоями. Представители рабочих осведомляют нас самым точным образом о положении народа и его настроениях. Наши собственные наблюдения, так же, как поступающие со всех сторон сведения, с необходимостью приводят нас к убеждению, что внутренняя сопротивляемость нашего народа на исходе. Перед лицом исключительно серьезного положения мы считаем своей обязанностью сказать, что, по нашему мнению, должно быть создано для предотвращения величайших несчастий. Мы со своей стороны не желаем разделять ответственности за промедление в том, что единственно может спасти нашу страну от страшного бедствия.

Продовольственное положение все время ухудшается. Средства питания, которые выдаются населению больших городов и промышленных местностей, давно не позволяют человеку насытиться и поддерживать свои силы. Многие миллионы страдают от мучительного чувства голода. Множество людей исхудало, лица бледные, исхудалые.

Несмотря на усилия обеспечить лучшее снабжение рабочих тяжелой промышленности, даже в снаряженных мастерских, производительность труда настолько ослаблена, вследствие долгого недоедания, что неоднократно уже вставала угроза полной невозможности работать. Незачем долго останавливаться, — однако, надо резко их подчеркнуть — на тех тяжчайших последствиях, которыми недостаточное питание грозит в особенности женщинам и подрастающему поколению.

Настроение населения глубоко подавлено долгими лишениями. К ослаблению физической и духовной

сопротивляемости вследствие дурного питания присоединяются другие истощающие заботы, которые несет за собой война, мучительный страх за судьбу сражающихся на фронте сыновей и братьев, мужей, отцов и кормильцев, развал семейной жизни, страх тяжелого будущего в горькой нужде.

Недостаточные, большей частью оттягиваемые, иногда же осуществляемые слишком поздно, и к тому же половинчатые мероприятия властей также питают недовольство. В торговле овощами на глазах властей практикуется положительно преступное ростовщичество. Таким образом нельзя удивляться тому, что безнадежность и отчаяние, а вместе с ними горечь и озлобление растут и углубляются. Население видит, что состоятельные круги могут по-прежнему хорошо питаться, более того в состоянии извлекать богатые барыши из самой войны и нужды своих соотечественников, тогда как миллионы малоимущих подрывают свое существование и обречены на дальнейшее обеднение и все растущую нужду.

Другой тяжело влияющий на настроение момент заключается в том, что до сих пор не осуществлен ряд внутренних реформ на основе равноправия всего населения. Это глубочайшим образом волнует и наполняет жестокой болью широкие круги народа, отдавшие во время войны все свои силы общественному благу. Правда, заслуги способного и мужественного народа признаны, и дан ряд обещаний, но за признаниями и обещаниями действия не последовали. Наоборот, сопротивление привилегированных введению свободного строя стало проявляться еще резче. Таким образом понятно, что в массах народа не только не исчезает недоверие, но все растет мысль о том, что постоянные отсрочки политических реформ окончатся тяжелым разочарованием. Поэтому не могло

быть длительным и благотворным действие императорской „пасхальной“ декларации. Недоверие и раздражение находят все новую почву, озлобление возрастает с каждым днем.

Что касается положения на фронте, то мы ограничимся указаниями на душевное состояние солдат. Высшему начальству не легко дать сейчас правильную оценку солдату.

Властное положение начальства крайне затрудняет обнаружение перед ним истинных взглядов и настроений. В войсках сказывается утомление войною. Это вполне объяснимо. До нас непрерывно доходят жалобы на жестокое и несправедливое обращение, а также и на утомительные военные упражнения, которые кажутся отпущенным на отдых переутомленным солдатам просто ненужным мучительством. Усиливает недовольство и раздражение и то, что во многих воинских частях условия питания ухудшаются только для солдат, но не для начальства. Но важнее всего вызванное продолжительностью войны общее стремление вернуться в нормальную мирную обстановку. Будущее на войне неизвестно, в прежнем существовании многое смято войною, и все более болезненно томит отцов семейств тоска о родном очаге, о жене и детях, которые, отцы знают это, живут в совершенно неудовлетворительных условиях. Вера в возможность решительной победы колеблется все больше и больше. Так овладевает и солдатом, и населением в тылу чувство, что дальнейшие жертвы напрасны, что превосходство противника в числе и материальных средствах слишком велико, и что чем дальше длится война, тем хуже будет складываться для нас положение.

При таком положении вещей выступления и беззащитная политика пангерманистов грозят превра-

тяться в величайшую опасность для страны. Агитация соответствующих кругов, которая ведется на большие средства, в немалой части протекающие из заработков, которые несет с собой война, вызывает в народе убеждение, что война продолжается с целью завоеваний, и что вина в том, что до сих пор не начинаются мирные переговоры, лежит и на Германии. Поэтому не могли оказать успокаивающего действия и заявления руководителей правительства о готовности к миру. Эти заявления наталкиваются на сомнения и недоверие, потому что правительство не оказывает решительного противодействия агитации в пользу территориальных приобретений на Западе и на Востоке, а также потому, что многие гражданские и военные правительственные учреждения явно поддерживают пангерманистскую пропаганду.

Пангерманисты вызвали в населении сильную надежду на быстрое окончание войны, благодаря подводной войне. Но как ни велико влияние подводной войны на хозяйственное положение наших врагов, обещанный народу результат—голодом заставить Англию сдаться или вызвать в ней по крайней мере готовность к миру—до сих пор не достигнут. Успехам подводной войны противостоит неудача, какою является присоединение Америки к неприятельской коалиции. Выступление Америки уже сделало очевидным тяжкий грех недооценки планов и сил наших противников. Минных заграждений все больше, давление на нейтральные государства стало невыносимым. А вместе с тем отпадают почти совершенно наши расчеты на получение сырья и продовольствия из нейтральных стран. Вступление в войну Америки грозит нам четвертой зимней кампанией и дальнейшим продолжением войны на долгое время.

Не осуществился до сих пор и расчет на то, что русская революция приблизит нас к миру. Мы должны считаться с возможностью и для новой России оставаться в рядах Антанты. Подозрение, что Германия только для того стремится заключить мир с Россией, чтобы иметь возможность предъявить тем большие требования на Западе, это подозрение не мало содействовало появлению сильных течений в пользу войны в русском совете рабочих и солдатских депутатов. Устранение этих подозрений есть необходимая предпосылка для поддержания в России течения, направленного на мирную политику.

Итак, нам грозит четвертая зимняя кампания. Встает роковой вопрос: может ли германский народ ее выдержать? С началом кампании, страдания населения чудовищно возрастут. Если и теперь уже были в разных местах империи вспышки отчаяния, но насколько ужаснее будет тогда: катастрофы станут неизбежны. Пусть нас не упрекают в сгущении красок и пусть не убаюкивают себя надеждой, что все будет идти дальше, как шло до сих пор. Есть мера вещей. Социал-демократическая партия в течение целых 4 лет делала все, чтобы сохранить силу сопротивления населения и содействовать всеми силами обороне страны. Но мы не должны скрывать от себя, что силы нашего народа подходят к концу. Сделано было сверхчеловеческое. Час, когда силы и воля к сопротивлению окажутся исчерпаны, может настать скорее, чем думают. Если бремя еще возрастет и не будет сделано ничего решительного для избежания грозящей катастрофы, то мы идем на встречу величайшей опасности.

Есть теперь только один исход для предотвращения величайших бедствий. Государственный переворот в России открывает возможность создать опорный

пункт, возможность, которой нельзя упускать. Совет рабочих и солдатских депутатов выдвинул формулу: без аннексий и контрибуций. Ответ вашего превосходительства в рейхстаге был также мал удовлетворителен, как и последующее заявление в „Северо-немецкой Всеобщей Газете“. Пока германское правительство не решится согласиться на общий мир на основе петербургской формулы, Россия остается в руках держав Антанты. Это снова подтверждает последняя резолюция заседающего теперь в Петербурге Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов, которая, объявляя возможно скорое окончание войны существеннейшей задачей, в то же время отклоняет мысль о сепаратном мире или перемирии. Если бы германское правительство заявило прямо о своей готовности к общему миру, как его понимает русский совет рабочих и солдатских депутатов, то это означало бы мощную поддержку всех сил, которые работают в России в пользу скорейшего мира. У их противников и ставленников Антанты было бы выбито из рук оружие. Развитие событий либо привело бы к разрыву между Россией и ее союзниками, либо последние увидели бы себя вынужденными вступить на почву той же формулы мира. Всякая неясность, всякая возможность подумывать, что мы оставляем себе открытым путь к насильственным приобретениям территории или иным насилиям над жизненными интересами других народов, должны быть устранены. Только такая политика позволит по нашему мнению, разорвать коалицию неприятельских держав и осуществить высшую цель войны: установить прочные мирные отношения в Европе и во всем мире.

Открытое заявление руководителей правительства о готовности к общему миру без аннексий и кон-

трибуций очень усилило бы в странах Антанты течение в пользу мира, которые были уже поддержаны нашим мирным предложением. Самым лучшим оказалось бы действие такого заявления и на жаждущие мира массы нашего народа. Везде прочно утвердилось бы убеждение, что мы ведем войну не для завоеваний, а для защиты своих собственных жизненных прав, что с нашей стороны ничего не будет противопоставлено близкому миру на основах соглашения и что если, несмотря на это, такого мира не удастся достигнуть, то вина в этом всецело на наших противниках.

Второй не менее существенной мерой для укрепления настроения в нашем народе и усиления в нем воли к сопротивлению внешним угрозам является новая свободная организация внутреннего строя. Широчайшие круги населения должны получить твердую уверенность в том, что они действительно получают права в империи, в союзных государствах и в местном самоуправлении. Нельзя медлить с либеральным развитием конституции страны в направлении к учреждению правительства, опирающегося на народное представительство и из его среды исходящего. Избирательное право должно быть скорейшим путем согласовано с приростом населения, как то предусматривает избирательный закон 1869 года. Безотлагательно должна быть проведена обещанная реформа прусского избирательного права. Час настал. Весь народ радостно приветствовал бы реформы, а небольшая группа привилегированных, которые потеряют таким образом свои прежние преимущества, должна пожертвовать своими личными интересами отечеству, которое борется с опасностью для жизни.

Дело идет о государстве в целом. На карту поставлены Германская империя и ее будущее. Цели

войны, выходящие за пределы наших собственных прав и в то же время за пределы достижимого, затягивают войну и влекут нас в пропасть. Весь мир должен знать, что германский народ борется единственно за свое национальное право на жизнь и развитие и что он в любой час готов заключить мир, который обещает ему это право. Все, что отсрочивает такой мир, должно быть отложено в сторону, все, что его приближает, должно быть сделано как можно скорее.

Внутреннему же строю должны быть даны формы, которые „открыли бы возможность свободной и радостной совместной работы всего нашего народа“. Если в массах народа появится твердое убеждение, что отечество, за которое они борются и страдают, во внутреннем своем строе есть очаг свободы и гражданской справедливости, то они напрягут свои последние силы и отдадут последнее, для того, чтобы отстоять это отечество от попыток поработить его извне.

С совершенным уважением и полной преданностью президиум германской социал-демократической партии и социал-демократической фракции рейхстага Фр. Эберт, Ф. Шейдеман, Молькенбург, М. Пфанкух, Отто Вельс, О. Браун, Эд. Давид, Фр. Бартельс, Г. Мюллер, Г. Граднауэр, Г. Кретцил, Р. Фишер, А. Герин.

Конституционная комиссия и правительственный саботаж.

С этой, как теперь должен признать всякий, безусловно правильной картиной общего положения перед глазами и занятый тем, чтобы в Берлине у своего правительства и в Стокгольме у иностранных товарищей по партии добиться всего, чего еще

можно было добиться перед лицом надвигавшегося банкротства, я имел особую возможность, в качестве председателя конституционной комиссии, наблюдать невероятное политическое жестокосердие, близорукость и эгоистическое упрямство, которые прежде всего объединяли правительство и консерваторов. А наряду с этим отсутствие смелости в более новых буржуазных партиях затрудняло даже мне, с моей безусловной решимостью продвинуть дело демократизации, достижение положительных результатов.

Я уже говорил в главе о стокгольмской конференции о той чрезмерной работе, которой мы были обременены и среди которой заседания конституционной комиссии занимали не последнее место Консерваторы, которыми здесь руководил Крет, занимались, разумеется, обструкциями. Они не хотели идти ни на какие уступки. Но возмутительнее всего было поведение представителей правительства, которые под руководством директора департамента Левальда обращались к одному маневру за другим для того, чтобы тормозить дело. Левальд действовал, конечно, в согласии и по указаниям своего начальника, статс-секретаря Гельфериха. Гельферих отговаривался главной комиссией, в которой он будто сидел безотлучно, и потому не мог прийти в конституционную комиссию. Когда я попросил прислать Левальда или по крайней мере каких-нибудь тайных советников для того, чтобы мы могли назначить обстоятельное заседание, он ответил, что Левальд необходим в главной комиссии. Когда я, несмотря на это, все таки отказался распустить конституционную комиссию, он сказал с раздражением: „Хорошо, тогда я пошлю вам какого-нибудь статиста“. Но прислал все таки Левальда, вероятно боясь нашей решимости.

Борьба за власть в армии.

Работы конституционной комиссии были крайне неудобны и канцлеру. Это с очевидностью явствует из моей записи в дневнике от

7 мая 1917 г. В 1/2 седьмого вечера Эберт и я были у канцлера. Он крайне заинтересован нашими стокгольмскими планами. Очень просит точно сообщить ему о том, что уже сделано нами, в качестве подготовительной работы, и что еще предстоит впереди. Полный надежд Эберт осведомил его очень подробно. Бетман слушал с интересом. Между тем я заметил, что он мог бы сильно облегчить нашу работу в Стокгольме и улучшить наши виды, если бы еще до конференции, отвечая на нашу интерpellацию, он признал формулу: без аннексий. Он не дал ясного ответа, еще раз повторил, что интерpellации ему очень неудобны, что сегодня он может сказать, что, может быть, будет говорить завтра, но не то, что придется эвентуально говорить после-завтра и т. д. Ряд банальностей. Затем он вернулся к Стокгольму. Кто туда приедет? Англичане и французы тоже? Становилось все яснее, какое большое значение он придает конференции. Он указал на неопределенность положения в России. Сегодня так, завтра иначе. Временное Правительство говорит одно, Милюков другое, а совет рабочих и солдатских депутатов—третье. Керенский, как ему кажется, играет двойственную роль. Кроме того у него есть сведения из Франции, что там правительство непрочное. Я: „Так сбросьте его,—выскажитесь за нашу формулу и французское министерство не сможет удержаться, потому что тогда группа, подобная нашему меньшинству, объединившаяся во-

круг Лонге, превратится в большинство, а сверх того оппозиция открыто будет требовать мира“.

Он: „Вы думаете?“ Я: „я считаю это несомненным“. Он: „Я желаю еще раз предварительно переговорить с вами перед выступлением по интерpellациям“. Я обещал и тотчас же заявил: „Если вы скажете что-нибудь, что удовлетворит правую, то мы должны будем заявить, что в течение трех лет находились в заблуждении, и сделать из этого выводы“. Он: „Правую! вы не поверите, как мне как раз теперь неудобна ваша конституционная комиссия“. Я,—притворяясь сильно удивленным: „Как так, почему?“ Он: „Вмешательство в компетенцию военной власти при производстве офицеров, например. Как вы думаете, как это будет использовано?“ Я тотчас же поймал его на слове, объяснил ему, в чем дело, и пожалел, что он так „недостаточно информирован“. Затем я сказал ему, что считаю все сделанное до сих пор в конституционной комиссии, так сказать „мелочным товаром“, без которого рейхстаг при желании мог свободно развернуть свою власть. Он: „Для всей правой печати конституционная комиссия служит новым желанным орудием против меня. Не забывайте, что эту печать читают в очень влиятельных кругах. А против меня солидарны и „Крестовая Газета“ и „Ежедневное Обозрение“ и Г. Георг Бернгард в „Фоссише-Цейтунг“. Конечно, à la longue, такая последовательная борьба остается не без влияния. Высшее офицерство не читает ничего, кроме этих правых листков. И это теперь, во время войны! нет, эта конституционная комиссия, теперь,—действительно дальше так невозможно“. Я стал решительно возражать. Он: „историю с производством офицеров мы не должны, ни в каком случае, доводить до пленума“. Я: „Этому

вы не можете воспрепятствовать, потому, что не считал нескольких консерваторов, весь рейхстаг за это требование". Он: „Мы должны стовориться, это не должно доходить до пленума. Если бы вы знали как это влияет наверху". Бетман был, по крайней мере, откровенным противником и не прибегал к мелким приемам саботажа и официозной лжи. Не таковы другие должностные лица!

Неправдивый военный министр.

Я хочу это пояснить только одним примером, который характеризует всю ограниченность, бесчестность старого режима. 15 мая было довольно бурное заседание рейхстага. Военному министру фон-Штейну был посвящен целый ряд неласковых слов. Я записал тогда в своем дневнике: „Целый ряд интермеццо вышел с военным министром. Все это можно узнать из газет и стенографии, кроме одного, что я хочу запечатлеть здесь для будущего. Военный министр имел смелость утверждать, что его не приглашали на заседания конституционной комиссии. Это была неправда, которой я, к сожалению, не мог публично вскрыть полностью. Я только сказал, что представитель министерства внутренних дел сказал в комиссии: военное министерство было приглашено. Я мог бы установить большее. На мой вопрос, не следует ли нам подождать с открытием заседания комиссии, о котором здесь идет речь, так как фон-Штейн еще занят в бюджетной комиссии, Левальд ответил: нет, нет, он не придет, он не хочет. Если бы я рассказал это в заседании рейхстага, то произошла бы сцена, каких рейхстаг пережил немного, потому что было бы ясно, что один из двух представителей пра-

вительства сказал неправду. Я не сомневался в том, что он сказал военный министр".

Но как ни мешали мне в стремлении подвинуть вперед конституционную реформу подвохи и увертки г.г. Гельфериха, Левальда и фон-Штейна, все же, гораздо больше, было мое возмущение против поведения независимых депутатов, игравших в руку консервативной реакции. Особенно крючкотворство депутата Штадтгагена было настолько глупо, что его иногда осуждали даже листки его собственной партии. Именно, в конституционной комиссии я понял ясно, как глупо правительство, которое сопротивляется тому, чтобы сделать необходимое.

Сколько злости было бы избегнуто, если бы обещанная реформа прусского избирательного права была действительно осуществлена. Если бы крушение гнилого режима не произошло 9-го ноября 1918 года автоматически, в качестве последствия проигранной войны, то правительство сделало бы революцию прямо необходимой своею двойственной игрой, избирательной реформой и безчисленными другими грехами, совершенными, главным образом, в конституционной комиссии.

Первое парламентарное правительство и крушение империи.

Принц-Макс Баденский становится рейхс-канцлером.— Должны ли социал-демократы вступить в правительство?—Я против этого и меня предлагают в статс-секретари.—Его превосходительство Шейдеман.—Амнистия.— Дитман и Либкнехт.—Письмо принца Макса Баденского к двоюродному брату Гогенлоэ.—Я за отставку канцлера, но остаюсь в меньшинстве.—Крик о помощи из главной квартиры.—Что происходило на фронте.—Людендорф требует свежих войск.—Встреча с императором.—Буревестники с побережья. Носке в Киле.—Отчаяние по всей линии.—Доклад Носке.—Борьба за отречение императора.—Цензурные возжеления.—Весь кабинет за отречение Вильгельма II.—Мое письмо к канцлеру.—Последние дни.—Ультиматум социал-демократической партии.—«Не позволять стрелять».—День крушения.

Всякому, у кого были глаза, становилось все яснее, что государство стоит над ужасной пропастью. На смену медлительному Бетман-Гольвегу — несомненно честному, но к сожалению, полному сомнений и оглядок, человеку, пришел „современник“ Михаэлис, который в мирное время был бы лишь преходящим, забавным впечатлением. Призвание его на пост канцлера в 1917 г. было преступлением. Михаэлиса сменил совершенно старчески расслабленный Гертлинг. Я присутствовал при том, как канцлер, барон фон-Гертлинг, на важном заседании, в

котором участвовали члены правительства и лидеры партий, вскоре после 9 часов вечера встал и отправился спать. Ни одному человеку он не сказал о своем намерении уйти. Он просто исчез среди заседания.

В эти месяцы монархия в Германии окончательно вырыла себе могилу. Если бы ее можно было оправдать в каком бы то ни было отношении, то должен был бы выступить хотя бы один из многочисленных представителей правящих домов и показать, что не все они неспособны видеть дальше собственного носа. Однако, этого одного не нашлось. В те дни ко мне приходили всевозможные советчики из очень „высоких“ кругов, чтобы подвинтить меня на „большое“ дело. Я благодарил, ибо помимо всего прочего, не мог закрывать глаза на то, что даже в рядах моей собственной партии, среди руководящих ее членов, высказывались взгляды, которых я абсолютно не понимал. Никогда не забуду, как один из моих друзей, перед самой катастрофой 9-го ноября, жестоко набросился на одного академически образованного члена партии за то, что тот назвал требование отречения монарха само собою разумеющимся. Когда 9 ноября 1918 г. отряд рабочих и солдат вытащил меня из столовой рейхстага и заставил говорить перед собравшимся народом, и я, правда, без всяких к тому оснований, но как это вполне понятно со стороны социал-демократа, заговорил о республике, то тот же товарищ по партии сделал мне ряд жестоких упреков. Я не имел-де никакого права на это, ибо форму правления установит учредительное собрание. Однако, не буду предвосхищать событий.

Макс принц Баденский становится рейхс-канцлером.

У принца Макса было в рейхстаге несколько друзей, которые уже давно хотели его лансировать. Рассказывали чудеса об его уме и его современных воззрениях. Для будущего великого герцога Баденского это значения не имело. Один из друзей принца намекнул мне уже в 1917 г., что хорошо было бы с ним поговорить. Когда я потом, между прочим, спросил о принце депутата баденского ландтага Вильгельма Кольба, то он сказал мне что „Баденский Макс“ действительно умный и очень приличный человек. Политических познаний у него тоже больше, чем у всех других людей его положения. Но по существу это стоит немногого. Из обстоятельного разговора с принцем, он знает, например, что о значении и задачах социал-демократии у принца лишь самые смутные представления.

Позднее я нашел, что характеристика Кольба очень близко соответствовала действительности. Принц Макс произвел на меня самое лучшее впечатление. Вероятно, последние годы он многому еще подучился. Когда Эберт, Пайэр и я в первый раз говорили с принцем об его кандидатуре на пост канцлера, он самым определенным образом заявил нам, что только в том случае примет пост, если в его кабинет войдут социал-демократы. О своих планах в качестве рейхс-канцлера он говорил очень свободно и, к моей радости, шел широко навстречу нам. Он был сторонником решительной демократизации и самого скорого, насколько это возможно, мира на началах соглашения. Все эти вопросы были подробно обсуждены в междуфракционной комиссии, и социал-

демократическим членам этой комиссии казалось бесспорным, что социал-демократы войдут в правительство.

Должна ли социал-демократия вступить в правительство?

В заседании 20 октября 1917 года был подробно рассмотрен вопрос о том, должны ли мы участвовать в правительстве. Эберт и я доложили о заседании междуфракционной комиссии. Вопрос еще раз был подробно рассмотрен. Я был решительным противником участия и аргументировал прежде всего тем, что не могу потребовать ни от кого из товарищей по партии вступления именно теперь в кабинет, во главу которого призывается принц. Но, кроме того я считал нежелательным в минуту крайнего обострения положения брать на себя ответственность, которую мы едва ли были в состоянии нести. Вольфганг Гейне хотел подчинить вступление социал-демократов в правительство определенным условиям. Ландсберг был вполне согласен со мной и высказывался против вступления. За участие в правительстве были, между прочим, Гренц, Давид, Давидсон, Зюдекум, Носке и Шбель. Живо поддерживал меня в моей отрицательной позиции и главный редактор „Форвертса“ Штампфер. Окончательного решения в этом заседании принято не было. В виду высказанных в заседании сомнений Эберт и я вновь говорили с канцлером. При этом, не предвосхищая решения фракции, мы, между прочим, сказали ему: для вступления социал-демократов в кабинет совершенно необходима вполне ясная позиция в вопросе о мире, кроме того всеобщес, равное, тайное избирательное право во всех союзных государствах, также как

изменение многих других постановлений конституции. Принц шел нам во всем навстречу. Между тем во фракции, так же как и в междуфракционной комиссии, обсуждался вопрос о том, какие государственные посты должны быть заняты представителями различных партий.

3-го октября мы были в состоянии доложить президиуму фракции следующее: центр потребовал учреждения ведомства печати и пропаганды, во главе которого должен стать Эрцбергер в качестве статс-секретаря. На пост помощника статс-секретаря должны дать своего представителя прогрессисты. Ведомство труда должен взять на себя Бауэр. В качестве помощника статс-секретаря центр хочет предложить Гисбертса. Если в министерстве народного хозяйства останется барон фон-Штейн, то ему предполагают дать социал-демократа в качестве помощника статс-секретаря. На ведомство внутренних дел притязает центр, который намечает на этот пост Тримборна. О замещении постов по ведомству ин. дел еще будут вестись переговоры. Во всяком случае Давид должен вступить на пост помощника статс-секретаря. Затем в кабинет должны быть введены один социал-демократ и один депутат центра, в качестве статс-секретарей без портфелей. Вместе с подлежащим министром они будут составлять малый военный совет. На этот пост центр выдвигает депутата Гребера.

Я против этого, но меня предлагают в статс-секретари.

Изображение всех подробностей заседания междуфракционной комиссии, социал-демократической фракции и ее президиума завело бы слишком далеко. Но

одно я хочу установить: когда на заседании президиума мы снова советовались о том, вступать нам в правительство или нет, я решительно восставал против вступления, главным образом в виду тяжелого положения на западном фронте. Как мы можем в эту минуту величайшего отчаяния вступить в это „обанкротившееся предприятие“? Во время моей речи пришел Эберт, который участвовал в заседании, где были сообщены потрясающие известия из главной квартиры. Эберт был прямо подавлен. Когда он услышал еще раз мои возражения, он решительно выступил против меня с защитой взгляда, что именно теперь мы должны вступить в правительство. Правда, он не думает, что мы можем еще что-нибудь спасти, но мы должны учесть следующее: если сейчас все рухнет извне и внутри, то не будут ли нас потом упрекать что мы отказали в своей помощи в минуту, когда нас со всех сторон о ней просили. После долгих споров, которые были перенесены потом в заседание фракции, значительным большинством было решено участвовать в правительстве и именно я вместе с Бауэром были назначены к вступлению в кабинет принца Макса.

Я пришел домой, мало убежденный в правильности этого решения. На следующий вечер, когда я ужинал в одном из берлинских ресторанов, мне по телефону сказали, что меня немедленно желает видеть вице-канцлер фон-Пайэр. Разумеется, я немедленно отправился по приглашению. К моему большому изумлению я застал фон-Пайэра не на квартире, а в конференц-зале, в кругу старых и вновь назначенных статс-секретарей. Все присутствующие явились в черных сюртуках, так что я, в своем сером рабочем костюме, выделялся, вероятно, совсем по-пролетарски. Мое изумление, однако, еще воз-

росло, когда вице-канцлер обратился ко мне со словами: „Ваше превосходительство, г. Шейдеман, приветствую вас в нашем кругу в качестве статс-секретаря. Мы же заняты обсуждением важного вопроса“. И поклонился и сел.

Несколько позднее я попросил г-на фон-Пайэра переговорить со мною и сказал ему, что на мой взгляд он должен был предварительно уведомить меня о том, что меня ожидало. В таком предварительном разговоре я непременно попросил бы его отказаться от титулования меня превосходительством. Во всяком случае я прошу об этом теперь. Фон-Пайэр, шутя, стал отклонять мою просьбу. „Вместе пойманы, вместе повешены“.

Позже я без труда и окончательно освободился от „превосходительства“.

Амнистия. Дитман и Либкнехт.

Работа в кабинете принца Макса началась с вопроса, который был разрешен к общему удовлетворению его участников.

Первое постановление было об общей амнистии. Только о двух лицах говорили особо. Депутат Дитман был приговорен к 5 годам заключения в крепости, из которых он отбыл уже 9 месяцев. На вопрос представителя военного ведомства, не будет ли депутат Дитман исключен из амнистии, было сразу отвечено отрицательно. А один буржуазный статс-секретарь даже подчеркнул, что депутат Дитман совершенно безобидный гражданин. Серьезные затруднения возникли по поводу Либкнехта. Военное ведомство ни за что не хотело согласиться на амнистирование Либкнехта. Я энергично возражал против этого и на-ряду с принципиальными сообра-

жениями обратил внимание на то, насколько неправильно будет такое изъятие с точки зрения политической. Общую амнистию будут приветствовать все круги населения. Но если бы хоть одного единственного депутата оставить в тюрьме, для миллиона рабочих амнистия сведется к нулю. Надо знать психологию рабочих, чтобы это понять. Тем не менее целый день прошел прежде, чем император согласился на освобождение Либкнехта.

Письмо принца Макса к двоюродному брату принцу Гогенлоэ.

Работа кабинета была безрадостна. Каждый день приносил нам новый тяжелый удар. К довершению несчастья „Свободная Газета“ в Берне опубликовала письмо, которое принц Макс писал 12 января 1918 г. своему двоюродному брату принцу Гогенлоэ. Это письмо было по телеграфу сообщено кабинету Бернским посольством. Содержание его было следующее:

„Очень благодарен тебе за твое последнее письмо, на которое я мог ответить только по телеграфу, и за любезную присылку твоей интересной и очень лестной статьи. Странная судьба постигла мои слова. Мне казалось что я говорю то, что разумеется само собою, не в угоду и не во зло кому-либо. А теперь находят, что это называется играть в руку врагам, а за границей и внутри страны мои слова встретили отзвук, который меня смущает. Если бы стала известна телеграмма, которую мне послал император (это между „нами“), в которой он называет мою речь „делом“ и поздравляет меня с высказанными в ней высокими и прекрасными мыслями! Пангерманисты нападают на меня, хотя я предоставляю

им в качестве оружия германский дух, которым они могут завосвывать мир сколько угодно. Левые же газеты, во главе с глубоко мне несимпатичной „Франкфуртер-Цейтунг“, хвалят меня, хотя я достаточно ясно бичую демократические лозунги и вместе парламентаризм, the world is aut of joint and people minds aut of balance.

Слово серьезного разума, серьезно понимаемого христианского чувства и несантиментальной человеческой совести не может быть ими понято, во внутреннем им безумии. Они должны протащить его через грязь и мусор своей извращающей глупости для того, чтобы приспособить к своему низменному пониманию. Поэтому я горжусь своими баденцами. Они знают, что я не партийный человек, что я не хожу и не могу им быть, и потому они поняли меня все от правых до левых и извлекли из моих слов то, что каждый встретил бы с удовольствием. Я давно испытываю потребность схватить за горло наших врагов и высмеять их аффектированную судейскую позицию в вопросах о вине и демократическом строе. Такую же потребность я испытывал противопоставить языческим настроениям нагорную проповедь и этим учением любви уяснить обязанности сильного охранять права человечества, потому что в обеих этих областях создавалась печальная неясность и запутанность понятий. Ибо с одной стороны наши враги извращают самые святые принципы своею ложью и клеветой, а с другой стороны под ударами бича этих низких махинаций мы реагируем на них иногда прямо безумным образом.

Мое выступление в пользу христианства и человеческой совести в ответ на уколы врагов, происходит из глубочайших моих убеждений. Таким обра-

зом сюда присоединяется и практический момент, так как утверждение этих взглядов, которые более глубоко заложены в германском духе, чем в английском и французском, является нападением на заявления о пацифизме и гуманности со стороны наших врагов, которое можно назвать моральным наступлением. Я не отрицаю того, что эта мысль мне несимпатична, ибо я всегда держался того взгляда, что христианство и человеколюбие должны говорить сами за себя, и что выгоды, которые с ними связаны, не должны быть подчеркиваемы. Но эти выгоды присущи им, и если они служат миру, то они служат хорошему делу. Таким образом начало и конец были даны наступлением против лжи и внушены, так называемым моральным наступлением.

Но, высмеивая демократические лозунги западных государств, я должен считаться и с нашими внутренними событиями. Так как я отклоняю для Германии и Бадена западный парламентаризм, то я должен был бы сказать баденскому, resp. германскому народу, что я понимаю его нужды, но что учреждения не являются целебным средством. Так я вступаю на платформу, при которой пути, коими я хочу идти, остаются в моих руках, а баденцы охотно позволяют вести себя, когда чувствуют, что их заботы и нужды поняты. На ту же точку зрения я становлюсь в вопросе о мире. Я хотел только указать тот дух, которым должен быть проникнут наш подход к этому вопросу, в противоположность властвующим в западных государствах. „Как“ для меня во всем этом тем важнее, чем труднее определить „что“, ибо и я, конечно, желаю возможного использования наших успехов, и в противоположность так называемой резолюции о мире, этому гнусному продукту страха и берлинского безделья, я желаю возможно больших

компенсаций убытков для того, чтобы после войны мы не стали слишком бедны. Мой взгляд здесь не вполне совпадает с твоим, ибо я еще не нахожу, чтобы о Бельгии следовало сказать больше, чем уже сказано. Враги знают достаточно и перед лицом такого хитрого и умного противника, как Англия, Бельгия есть единственный объект компенсации, которым мы располагаем. Это было бы иначе, если бы уже были налицо предпосылки прочного мира. Но Ллойд-Джордж и Клемансо сожгли все мосты к нему. Вот тебе аутентическое толкование моей речи, которая в сотнях экземпляров, в качестве летучего листка, распространена министерством для осведомления народов. Прилагаю к письму 6 экземпляров. Еще раз благодарю тебя за все то дружеское, что содержит твоя статья и твое письмо. У меня от всего этого чувство *d'avoir fait de la poésie sans le savoir*. Скажу еще только одно: речь представляет собой одно целое: кто опустил начало, не поймет конца, и наоборот. Я очень дурного мнения о моральном уровне людей, стоящих во главе неприятельских государств, и об ужасной неспособности их народов понимать. Нам приходится бороться с низостью душ, позорнее которой не было никогда. Мы же грешим глупостью, ибо пангерманизм и резолюция о мире одинаково глупые явления. По крайней мере в той форме, в какой они выступают перед нами. А кроме того и у нас достаточно низости, но она менее сознательна, менее грех против святого духа. Когда нам удастся увидаться, сказать не могу. Путешествие по железной дороге не доставляет больше удовольствия, а в холода особенно. Надеюсь, весна сведет нас. До тех пор будь здоров и прими сердечный привет от искренно преданного двоюродного брата Макса“.

„Свободная Газета“ предпослала письму следующее введение: „Для оценки подлинного характера нового германского рейхе-канцлера-принца и его демократического мирозерцания, мы печатаем следующее письмо принца Ваденского, которое заслуживает особого интереса в виду нового германского предложения о мире. Документ показывает, какую цену следует придавать этому предложению. В качестве эпитафии к этому письму мы желали бы поставить выдержку из речи, произнесенной его великогерцогским высочеством г. канцлером в рейхстаге 5-го октября, гласящую так: что касается меня лично, то мои прежние, пред другим кругом слушателей произнесенные речи доказывают, что в моих представлениях о будущем мире не произошло никаких изменений с тех пор как я облечен руководством делами рейхстага. Вот текст письма, политически наиболее важные места которого мы нанесли курсивом“.

Одновременно с текстом письма, о котором мы узнали из „Свободной Газеты“, до нас дошло сообщение о том, что цензура воспретила перепечатку письма в Германии. Я был, конечно, глубоко задет и твердо решил ни за что не оставаться в кабинете, если принц не даст вполне удовлетворительных объяснений. Ни один человек не мог отрицать, что между письмом принца к двоюродному брату и речью, произнесенной им в рейхстаге, было кричащее противоречие. В этом же заседании кабинета, в котором я узнал о письме, я просил принца поговорить со мной сейчас же по закрытии заседания. Он был готов к этому и сначала хотел говорить со мной с глазу на глаз, но затем охотно, как он сказал, привлек к беседе статс-секретарей Эрцбергера и Гребера, также как и помощника статс-секретаря Ван-

шаффе и директора Дейтельмозера. Я спросил его без обиняков, в состоянии ли он дать удовлетворительное объяснение по поводу письма к двоюродному брату, иначе мне не возможно оставаться в его кабинете. Принц признал подлинность письма, но старался представить его довольно безобидным. Я не должен забывать, что дело идет о частном письме к двоюродному брату и так как этот двоюродный брат в вопросе о войне занял совершенно особую позицию, то понятно, что и ему казалось соблазнительным написать ему совершенно особым образом. Его точка зрения та, которую он защищал в рейхстаге. „Однако, прибавил он, я готов немедленно уйти в отставку, если это считают нужным. Ни в коем случае я не желаю оставаться на посту, если это вызывает хотя бы малейшее сомнение“. Статс-секретари Гребер и Эрцбергер держали себя во время этой беседы очень пассивно. Господа Ваншаффе и Дейтельмозер пытались покрыть принца. Я сказал „Подумайте сами, как опубликование письма подействует в неприятельских странах и как глубоко будет в то же мгновение поколеблено доверие к вам. Сравните пожалуйста содержание вашего письма с Вашей речью, и Вы не будете удивляться тому, что за границей снова заговорят о германской двойственности“. На это принц ответил: „Я готов тотчас же сделать все выводы“... Я прервал его: „Не действуйте торопливо, обдумайте положение; могу ли я остаться на посту, решит фракция“.

Я за отставку канцлера.

На следующий день было заседание фракции и в связи с ним совещание междуфракционной комиссии. Я очень подробно доложил о письме и о своем раз-

говоре с принцем. В междуфракционной комиссии статс-секретарь Гребер подтвердил правильность моего доклада, но затем стал говорить в защиту принца. „Публично он говорил только хорошие, безупречные вещи“, что заставило меня воскликнуть: „Это-то и плохо, что публично он говорит так хорошо, а в частном письме сказал столько нехорошего“. Эрцбергер тоже подтвердил мое сообщение, но присоединил просьбу о том, чтобы мы остались в кабинете. Эберт одобрял мою позицию. Дове поставил вопрос, улучшится ли что-нибудь, если сейчас произойдет смена канцлера; по его мнению, это окажет обратное действие. Депутат Штреземан сомневался в том, чтобы принц мог остаться, но считал, что он во всяком случае не должен уходить, пока не подпишет ноты (просьба о перемирии)—до тех пор должны непременно выдержать и социал-демократы. Больше всего мне было жаль депутата Гаусмана, которого я знал, как искреннего друга принца, и который был совершенно несчастен из-за письма. На всякий случай я доложил междуфракционной комиссии следующее письмо, которое подписал по моему предложению и Бауэр:

„Берлин, 12 октября 1918 г.

Его превосходительству господину вице-канцлеру фон-Пайэру.

Ваше превосходительство!

Нижеподписавшиеся имеют честь почтительнейше сообщить, что для них невозможно дальнейшее участие в кабинете, во главе которого остается принц Макс Баденский.

Господин имперский-канцлер настолько скомпрометирован письмом, которое он написал 12 января 1918 г. своему двоюродному брату—принцу Гогенлоу и которое ныне обходит печатать всех стран Антанты, что мы не можем ждать от его деятельности ничего полезного для осуществления мира, так же как и для внутреннего развития страны.

Преданные Вашему Превосходительству

Шейдеман,
Бауэр“.

Я заявил, что во всяком случае уйду не иначе, как с согласия фракции. Гаусман очень просил, еще раз переговорить с принцем прежде, чем фракция примет решение. Давид указал, что ноту может подписать фон-Зольф или фон-Пайер. Принц же должен заявить, что он уходит в отставку. Это должно произвести хорошее впечатление, и всякий должен будет убедиться в том, что кабинет и большинство рейхстага намерены серьезно относиться к демократии. В этом же духе говорил и Фишбек. В заключение я еще раз выразил свое убеждение, что принца невозможно оставлять на посту; он должен уйти.

Затем целый день борьба вокруг письма в президиумах, во фракциях, в междуфракционной комиссии, заседания по поводу письма с вице-канцлером, с принцем Максом, который, наконец, сам явился в междуфракционную комиссию для объяснений. Обсуждение вопроса кабинетом, затем соединенное заседание: в составе междуфракционной комиссии, членов кабинета, принца Макса и графа Ранцау, нашего посла в Копенгагене, в качестве сведущего лица. Граф Ранцау высказал взгляд, что, судя по

его опыту, смена канцлера в такую минуту, как нынешняя, была бы самым вредоносным шагом. Приводились многочисленные выдержки из газет, указывавшие на то, что письмо не принимали трагически. Сообщалось даже под шумок, что Вильсон и Брантинг решили совершенно игнорировать письмо. Затем заговорили о разрешении напечатать письмо в германских газетах. Я со всей решительностью высказался за разрешение, потому что воспреещение печатать письмо резко расходилось с заявлениями правительства о свободе печати. В конце концов постановили разрешить печатание письма, но в то же время препроводить редакциям газет пояснение его со стороны самого принца и обратиться к ним с просьбой не воспроизводить пояснения дословно, лишь использовав его с тактом. 15 октября президиум фракции, а затем и фракция постановили устранить канцлерский кризис. У принца свалился камень с сердца. Но зато нас тяжело поразил тогда ответ Вильсона.

Крик о помощи из главной квартиры.

Прения в комиссии подтвердили то, что уже раньше весь мир знал из газет: что просьба о перемирии явилась лишь следствием просьбы о помощи, заявленной главной квартирой принцу Макс Баденскому. При обсуждении кабинетом вопроса о перемирии и ответной ноты Вильсону, принц Макс Баденский держал себя чрезвычайно мужественно и честно. Никогда не забуду, как он сказал в заседании 21 октября: „Я послал ноту, потому что главное командование прямо принудило меня к этому. Я был против этого отчаянного призыва о помощи, но потом взял на себя всю ответственность, я был

слишком горд, чтобы прятаться за чужими спинами". Его желаниям просьба о перемирии и о мире в тогдашнем положении не соответствовала; если бы действовали согласно его настроениям и дали ему время, он поступил бы иначе.

Когда в кабинете обсуждался вопрос о том, надо ли, кроме Людендорфа, который был заодно с Гинденбургом, запросить и других командующих о положении, то было заявлено, что если спросят других, Гинденбург и Людендорф тотчас же подадут в отставку. Кабинет перед этим, однако, не отступил и потребовал справок от генералов Мудра и Гальвица. Из разговоров с ними выяснилось, однако, что они хорошо знают положение лишь в местах расположения своих частей, но не на фронтах вообще. Оба были потрясены сообщениями об общем положении. Все, что они указывали, восхваляя храбрость своих солдат, было известно кабинету, но ни в чем не могло изменить печальной общей картины.

Что было на фронте.

Я прочитал генералам присланный мне с фронта приказ по дивизии, выдержки из которого привожу ниже:

41 пехотн. дивизия.

Квартира штаба дивизии. 14 августа 1918.

Приказ по дивизии.

„Несчастье 8 августа произошло вследствие густого тумана, под прикрытием которого танкам удалось проникнуть в наши ряды и затем в тыл; как только рассвело, танки были расстреляны, и 8-го, как и на следующий день, англичане не могли ни у нас,

ни вообще на германском фронте добиться никакого значительного успеха. В тогдашнем тяжелом положении солдаты и офицеры разных полков совершили ряд героических подвигов. Люди, которые содействовали тому, чтобы остановить врага и не дать ему прорваться, могут до конца дней гордиться своими заслугами. Я намерен наградить железным крестом всех тех, кто 8 августа оставался со своим начальником в переднем ряду. К сожалению, однако, многие солдаты своей обязанности не исполнили. Все те, кто не остался на фронте, когда враг перестал теснить с тыла, кто вместо того, чтобы пробиться вперед, открыли фронт неприятелю и устремились в обоз или другое безопасное место, тяжко нарушили свою подкрепленную военной присягой обязанность. Они должны загладить тяжелую вину перед своими начальниками и товарищами и перед своею совестью.

Но совершенно безчестно и изменнически в отношении отечества действовали те, кто бросил оружие, для того, чтобы уйти поскорее и не быть возвращенным в бой. Все эти люди, согласно § 85 военно-уголовного кодекса, подлежат заключению в исправительном доме, а в более легких случаях в тюрьме на срок не менее года.

Я приказываю, чтобы поскольку эти люди не могут оправдать своего поведения, разыскать их и занести их имена на черную доску полка (батальона). Если война не будет окончена ранее 8 августа 1919 года, я еще дам им до этого времени возможность загладить позор честным поведением. Но всякий, чье имя занесено на черную доску, провинившись до того времени в чем-либо против военных обязанностей и чести (напр., неповиновение, самовольный уход и т. п.) будет тотчас же предан военному суду и расстрелян согласно § 85 военно-уго-

ловного кодекса. За особенно тяжкие проступки будет произведен немедленный расстрел. В особенности подлежат немедленному расстрелу те, кто подстрекал других к оставлению или отнятию оружия или кто оказал неповиновение перед лицом врага. Я намерен исполнять смертные приговоры беспощадно.

Проявив выдающуюся храбрость, каждый может однако согласно § 88 военно-уголовного кодекса освободиться от наказания, так что имя его будет вычеркнуто с черной доски.

Генерал-майор, командир дивизии“.

Людендорф требует свежих войск.

Совершенно непонятно было нам всем поведение Людендорфа. Сначала настоятельный призыв к скорейшему перемирию, а затем попытки представить все, чтобы вызвать в нас мысль о возможности продолжать борьбу. Так, в одном из заседаний он потребовал от нас людей, людей и людей, а на мой вопрос, где взять этих людей для посылки их на безнадежную борьбу, он ответил: „Господин Эберт, наверное, может это устроить“. На следующее утро военный министр доставил справку, согласно которой он намеревался доставить на фронт 600.000 человек. Эти 600.000 составлялись следующим образом:

Выздоровливающие (из них с родины 40.000, с фронта 15.000 человек).	55.000 чел.
Остаток призыва 1900 г. (обученных солдат 54.000, еще необученных 196.000 человек).	250.000 „
Взятых в плен в России	5.000 „
Из запасных частей в тылу	75.000 „

Из провиантских складов	73.000 чел.
Из промышленности	25.000 „

Всего в Пруссии. 483.000 чел.

Согласно опыту, он мог бы к ним присоединить 100.000 человек из Баварии, Саксонии и Вюртемберга. Людендорф радовался, слушая эти цифры, он без сомнений погнался бы еще многие сотни на безнадежную борьбу. Само собою разумеется, что я самым решительным образом восстал против планов Людендорфа. Предложение, возникшее за пределами кабинетов о массовом призыве населения (*levée en masse*), не нашло в кабинете никакого отзвука, все понимали бессмыслицу таких предположений.

Большое место занимала в переговорах с Людендорфом и подводная война. Считалось очевидным, что не может быть никаких видов на перемирие и мир, пока подводная война будет вестись с прежней беспощадностью. На вопрос о том, нельзя ли ограничить деятельность подводных лодок неприятельскими военными судами, представитель морского ведомства ответил без всяких оговорок отрицательно. К счастью, все попытки извне повлиять на кабинет в смысле продолжения беспощадной подводной войны остались безуспешными.

Отрадно были во время всех этих споров ясные указания графа Редерна, который проявил себя умным и решительным человеком. „Мы должны исходить только из существа дела“, сказал он однажды, „сколько раз демагоги превращали „настроение“ в источник вреда для государства“. По вопросу о прекращении подводной войны были заслушаны и мнения германских дипломатов. Граф Брокдорф-Ранцау из Копенгагена, Розен из Гааги и граф Вольф-

Меттерних из Вены, все трос, не видевшись за последнее время, были согласны в том, что нет никаких видов на начало мирных переговоров, пока продолжится подводная война. Просительные ноты, к которым кабинет был вынужден обращаться перед лицом крушения, были мукой для каждого из его членов. Мне незачем и говорить об этом. Каждый немец воспринимает конец войны, как позор, который тяготееет на каждом из нас. Но когда все уже было потеряно, Людендорф был снова готов послать новые сотни тысяч немецких людей против смертоносных машин и свежих войск Антанты, особенно прибывавших из Америки.

Встреча с императором.

20 октября я получил приглашение на прием у императора, который пожелал, чтобы ему были представлены новые статс-секретари. Прием был назначен на понедельник, 21, в три часа дня во дворце Велью. Цитирую из моего дневника:

С принцем Максом Баденским во главе, налицо все члены нового имперского кабинета; от социал-демократов: Бауэр, доктор Давид, д-р Август Мюллер, Шейдеман, Роберт Шмидт. Мы едва собрались, как появился император, с листком картона в руке. Он остановился в нескольких шагах от нас, левой рукой, в которой держал шлем, оперся на рукоятку сабли, поклонился и сказал: „Милостивые государи, я позволил себе занести несколько строк на бумагу“, при этом правой рукой он поднял картон и мы увидели, что на обеих сторонах его наклеены листки, густо написанные на пишущей машинке. Он несколько принужденно улыбался и при этом пома-

хивал бумагой так, как если бы хотел сказать: „Вы ведь знаете, как делаются такие вещи“. Затем он прочитал написанное. Оно несомненно произвело бы отличное впечатление, скажи он это несколькими годами раньше. Там говорилось о том, что нигде на свете не должно быть учреждений свободнее наших. В конце упоминалось о борьбе „до последнего вздоха“.

Это показалось мне в тогдашнем положении безвкуснейшей. Затем император передал свой картон Клеменсу Дельбрюку, который, больной, походил на привидение. Канцлер представил императору каждого из присутствующих. Приятно выяснилось, что император был отлично подготовлен. С Бауэром он говорил о Бреслау, с доктором Давидом, проводившим большую часть жизни в Гессене, о Гессене, к Роберту Шмидту обратился, как к своему берлинскому земляку, а мне сказал: „А с вами мы вместе посещали школу в Касселе“. Я исправил те из его дальнейших замечаний, которые были неточны. Когда император удалился, мы еще постояли несколько минут с Дельбрюком, обсуждая вопрос о том, желательно ли опубликование речи императора. Гребер был за опубликование. Я против, потому что у меня было твердое убеждение, что речь должна в нынешнюю минуту показаться смешной. Другие указывали на уже отмеченный мной конец речи. Таким образом мы условились пока речи не опубликовывать.

Я должен еще раз вернуться назад и тут же забежать вперед. 30 сентября 1918 года произошло под именем перемирия крушение Болгарии.

2 октября Людендорф потребовал от чиновника министерства иностранных дел при главной квартире, фон-Лезенера, чтобы наше предложение пере-

мирия немедленно было отправлено из Берна в Вашингтон. 48 часов армия могла еще ждать. Девятого октября в присутствии Людендорфа полковник Гейе из главного командования заявил: „Шаг к миру, а еще больше к перемирию необходим. Войска не знают покоя“. 17 октября Людендорф сам признал, что в армии не осталось сил держаться, однако, несмотря на все происшедшее, он просил подкрепления. Раз генерал Шейх выдвигает возможность дать ему еще 600.000 человек, нацараланных из разных углов—о качественном составе этой последней капли немецкой крови я только что рассказал,—то Людендорф снова светло смотрит на будущее, даже утверждает, что можно быть полными надежд. Источники и пути этого сангвинического под'ема настроения? В эту минуту, когда все уже висит наполовину над пропастью, он думает чего-нибудь достигнуть созданием настроения. „Это (дурное) настроение пришло из тыла на фронт, а я знаю, что теперь, наоборот, настроение, которое уносят домой увольняемые в отпуск солдаты, очень плохо“. Исходя из этой теории он спросил меня, можно ли все-таки поднять настроение масс. А об условиях, при которых можно рассчитывать хотя бы и на самое скромное оборонительное дело, он знает так мало, что утверждает: „Мы хорошо выйдем из положения, если настроение армии продержится ближайшие четыре недели“. Против такой слепоты, которая не считается ни с какими фактами и не в силах опереться ни на какие познания, нет средств, разве что события сами взяли бы на себя ее исправление. События это сделали ровно через 14 дней после того, как я в последний раз слышал из уст Людендорфа слова „полон надежд“.

Буревестники с побережья.

В кабинете налево от меня обыкновенно сидел статс-секретарь морского министерства фон-Монн. 4 ноября он пришел, когда заседание уже началось, сел около меня и показал мне несколько телеграмм из Килия... Сомнений не могло больше быть: это был открытый, организованный мятеж, больше того—это была искра, которой неизбежно было упасть в бочку с порохом. В Киле все было вверх дном—и, это был последний луч надежды: из матросских кругов вызывали депутата большинства. Представитель большинства рейхстага приглашался в Киль, но это должен был непременно быть энергичный человек.

Еще до получения кабинетом этих сведений—я говорил по телефону с Носке, который был в рейхстаге. Носке готов был тотчас же поехать. Кабинет согласился на мое предложение, но решил послать в Киль вместе с Носке статс-секретаря Гаусмана. Все последующее может предполагаться известным. Известия, подобные полученным из Килия, стали приходиться одно за другим: из Любека, Штетина, Фленсбурга, Куксгавена, Брунсбюштеля, Гамбурга.

Требования матросов, о которых телеграфировал и телефонировал Носке, начинались все одинаково: прежде всего отречение императора. Все другие требования были тоже однородны: долой императора, тотчас же амнистию, перемирие, мир, избирательное право.

Воспроизвожу заметки, относящиеся к первым бесспорным предвестникам бури, особенно в Киле. Известное я опускаю и пытаюсь изобразить позицию кабинета в отношении событий, нагромождавшихся одно на другое перед катастрофой. Ибо с быстротой бури все летело в пропасть.

Пятым ноября датированы следующие заметки: генерал-квартирмейстер Гренер явился по приглашению. Он кратко докладывает: за политическим окружением последовало и военное. Наша слабость заключается в протяженности фронта.

Единство действий на стороне Антанты нанесло нам окончательное поражение; (отвечая на вопрос): как мы перевезем обратно войска из Малой Азии, сейчас совершенно не известно. Многим придется пробираться собственными силами. Переброшенные с востока войска не годятся тотчас же для западного фронта. Баварские войска защищены тактическими благоприятными позициями; альпийский корпус должен быть тотчас же отозван из Венгрии. Может быть, надо взорвать Бреннер, занять немецкую Богемию, узловые станции железных дорог, напр., Аусиг—для защиты германской границы. Наши войска давно уже не знают покоя, значит, надо как можно скорее сократить фронт. Мы должны отойти, чтобы избегнуть прорыва. Некоторые дивизии держатся блестяще, другие вовсе не идут в бой. Поступают все новые сведения о том, что свежие войска портят настроение. Хотя и атаки французов становятся все слабее, однако наши войска не сопротивляются больше, как прежде. Ядро армии здорово, но..... требования отречения императора разлагающе действуют на офицеров. Сопротивление может продолжаться лишь самое короткое время.

Шейдеман: Несмотря на эти сообщения, здесь все еще говорят о посылке свежих войска. А по словам Гренера, если еще можно испортить настроение войска, то его портят именно вновь прибывающие.

Фон-Нийэр: Очевидно, что Гренер желал бы продолжения борьбы для того, чтобы правительство выиграло время для переговоров. Пойдет ли еще Ан-

танта на наше предложение перемирия? И если да, какие она поставит условия? Что, если условия будут невыносимы? Есть ли действительно смысл продолжать борьбу?

Гренер: Нам нужно время. Сейчас начат большой отход войска. Решающее значение будет иметь место новой атаки.

Между тем из Килия приехал статс-секретарь Гаусман, который сообщил следующее: матросы образovali комитеты, требуют уничтожения монархии, избирательных прав для всех, достигших 21 года, освобождения политических заключенных и т. д.

Из краткого отчета Гаусмана все выносят впечатление, что дело идет к концу. Обмен мнений по докладу Гаусмана откладывается, так как продолжается разговор с Гренером.

Принц Макс: Сообщение Гаусмана дает нам вполне ясное представление о настроении во флоте. Что делать на востоке, что делать для защиты баварской границы?

Гренер перечисляет все тотчас необходимые мероприятия. На богемской границе мы не можем вступить в бой с чехо-словацкими войсками, потому что это хорошие и сильные войска, мы же слабы.

Отчаяние по всей линии. На фронте и в тылу.

Вечером я еще раз говорил с глазу на глаз с принцем Максом. Я прямо обратил его внимание на требования, которые везде выставляли матросы. Он: „Вопрос об императоре будет решен лишь после перемирия. После перемирия должно выясниться и положение“. Я: „Я убежден, что тогда будет поздно“.

Носке в Киле.

6 ноября 1918 г. Ночью поступили первые сведения от Носке. Носке взял на себя обязанности главнокомандующего в Киле. Он спрашивает, насколько кабинет намерен идти навстречу переданным через него требованиям матросов. Он просит не посылать войск в город. Фон-Пайэр предлагает в качестве ответа: войска не будут посланы, но движение не должно распространяться за пределы Киля. Для этого должно быть остановлено железнодорожное движение: Фон-Пайэр прибавляет, что Носке удалось обеспечить Килью на 6 ноября молоко.

Во время этого обмена мнений Носке говорил по телефону с статс-секретарем фон-Монном, о чем последний сообщил кабинету: Носке действительно главнокомандующий. Он придает большое значение обещанию амнистии. Сегодня утром царил внешнее спокойствие. Каждый час может, однако, принести стычки. Отречение или свержение императора необходимо. Носке верит в восстановление старого порядка, если будут сделаны требуемые уступки.

Фон-Монн прибавил к этому сообщению: сегодня в Берлин приехало около 500 матросов. Военный министр Шейх: это несомненно неправильные сведения. Верно, что 40 матросов приехали в Виттенберг, но тотчас же были задержаны отрядом 4 гвардейского полка. Пока не установлено, были ли это матросы, находящиеся в отпуску, или мятежники.

В Любеке будто бы вокзал занят мятежниками. Войска, посланные в Любек, остановились южнее города, но они слишком слабы. Подобно кильским, развернулись события также в Шверинге, Куксгагене и других названных местностях. Из Киля был отдан приказ безусловно избегать кровопролития. Шейх

считает это сообщение неверным. Солдатский совет в Киле постановил, что пехота может уйти из города, если сдаст оружие.

Фон-Монн сообщает, что по сведениям из Вильгельмсгагена неизвестно, где находится 3-й эскадрон. Из Куксгагена сообщают, что подводные лодки отказались выйти в море, солдаты с лодок присоединились к восставшим. Обсуждается вопрос, не следует ли вместо Сухона назначить Шредера губернатором Киля.

Граф Редерн: Положение настолько ухудшилось, что не следует выдвигать военных. Он предлагает распустить флот.

Шейдеман: Я считаю безусловным, что по положению вещей на фронте и на побережье выставленные требования должны быть удовлетворены, поскольку речь не идет о политических требованиях, которые подлежат рассмотрению рейхстага. Рейхстаг должен тотчас же заняться этими требованиями. Надо как гарантировать амнистию и освобождение осужденных, поскольку это не тяжкие преступники, так и обеспечить нынешним мятежникам свободу от наказания. Если нам не удастся установить некоторый порядок, Антанта прямо отклонит наше предложение перемирия.

Эрихбергер—за немедленную амнистию и освобождение заключенных, если до 6 час. вечера в Киле восстановится порядок. Там же высказывается Гаусман.

Директор департамента Сименс докладывает телеграммы, полученные им из Киля от знакомого. В городе спокойно, хотя ночью много стреляли. Самое тяжелое—обстрел одного отеля. Солдатский совет поддерживает порядок. Шейх возражает против предложения графа Редерна распустить флот.

Фон-Пайэр сообщает, что 10000 солдат препроводили из Фридрихсорта правительству резолюцию,

в которой требуют упразднения палаты господ и введения избирательного права, начиная с достигших 21 года. Остальные требования совпадают с известными кабинету. Граф Редерн, Эрцбергер и Тримборн решительно восстают против послышки в Киль Шредера на место Сухона. Граф Редерн требует кроме того немедленного возвращения императора в Берлин. Симонс: „В этом отношении принц сделал все возможное“. В эту минуту канцлер входит в кабинет. Носке просит к телефону Шейдемана.

Доклад Носке.

Из моего телефонного разговора с Носке, записанного дежурным офицером:

Я говорю: Скажи солдатам, а также рабочим, что правительство вполне единодушно в вопросе об амнистии. Мы все согласны также и в том, что должны быть свободны от наказания все, совершившие теперь проступки против военной дисциплины. Изъяты должны быть, конечно, только лица—в этом мы согласны с выставленными требованиями—которые совершили общие преступления. Условия для того и другого: возвращение солдат сегодня же на свои места и возвращение насильственно захваченного оружия и снаряжения.

Мы пытаемся снестись с императором, который, по действующему праву, должен санкционировать наши решения.

В ближайшие дни можно определенно обещать начало переговоров о перемирии, а непосредственно за ними—и мирных переговоров. Обрати, однако, внимание солдат на то, что переговоры как о перемирии, так и о мире, к которым мы стремимся как можно скорее, будут сильно затруднены, если не-

приятель узнает о событиях в Киле. Поэтому необходимо, чтобы в Киле, как и в других местностях, тотчас же восстановился порядок. Солдаты должны вернуться к своей службе, и все будет считаться исчерпанным.

Скажи далее, что выставленные ими политические требования—избирательного права и др.—не могут быть проведены правительством по решениям с мест. Это вопросы, которые разумеется, могут быть решены только народным представительством, т. е. рейхстагом. Как только начнется перемирие, соберется рейхстаг. Я надеюсь, что солдаты поймут это, и сегодня вечером будет спокойно.

На вопрос Носке я ответил: „Вопрос об императоре еще висит в воздухе, он будет решен на днях“.

Затем Носке сказал, что он почти падает под бременем гигантской работы. На вопрос, послать ли к нему кого-нибудь на помощь, он ответил: „Если кто-нибудь пойдет, конечно“. На дальнейший вопрос, послать ли кого-нибудь из правительства или лучше из партии, он сказал: „Против правительства такая травля, что желательнее кто-нибудь из членов фракции“. На предложение прислать депутата ландстага Брауна или депутата рейхстага Вельса, которые оба крепкие люди, Носке сказал, что будет рад одному, как и другому.

Единственное, что его, Носке, радует в настоящую минуту, это то, что на некоторых из главных крикунов нашел страх, потому что события превзошли их ожидания.

На неоднократные вопросы Носке определенно обещает оставаться в Киле, пока он вообще сможет продержаться. Он не скрывает, что чувствует, что ему грозит серьезная опасность и он может быть

убит из-за угла, потому что даже и в солдатском совете сидит изрядное число очень свирепых людей.

7-го ноября была получена от Носке телеграмма, последнее его сообщение по должности до 9-го ноября.

„Только что должен был взять на себя начальство над флотом в Киле. Прежний начальник передал мне дела. Как справиться с задачей, не знаю. Вдобавок, только что приехал Гаазе. Если начнутся споры, ничего конечно, нельзя будет сделать. Сегодня он заверил меня, что единение не будет нарушено. Жду за это компенсаций в Берлине. На мой намек о том, как здесь складываются дела, Ваншаффе сказал мне сегодня по телефону, что правительство надеется, что я останусь здесь так долго, как это будет возможно. Напряженно жду указаний, остается ли правительство при том же взгляде“.

Борьба за отречение императора.

Еслибы война окончилась победой Германии, то императора чрезмерно возвеличили бы, произвели бы вероятно, в полубоги. Но случилось иначе. Нужен был козел отпущения—и прежде всего его нашли в императоре. Вопрос об отречении императора, как это видно из предыдущего, обсуждался везде, в публичных и частных собраниях, за каждым столом в кафе, в каждой конторе, на железных дорогах и в трамвае. Только в печати было мало определенных сообщений, потому что цензура запрещала газетам обсуждение этого вопроса.

Вождедения цензуры.

Как кошка не может оставить в покое мышь, так не могли во время войны оставить в покое прессу чиновники и офицеры, прикомандированные к цен-

зуре главным командованием. Это находил невыносимым уже старый Фриц. До дня окончательной гибели старого режима цензурные герои все еще пытались обуздать прессу, хотя и знали, что правительство принца Макса образовалось на основе программы, объявившей печать принципиально свободной и согласившейся лишь на некоторые меры против нескромности печати, которая могла повредить интересам войны. Еще 21 октября один чиновник из министерства иностранных дел попросил меня об обуздании прессы. Я не только обстоятельно ответил ему на это, но изложил в письме свой взгляд на его ходатайство. „В вашем письме от 21 октября 1918 г. вы выражаете желание, чтобы я повлиял на прессу в указанном вами направлении. Сделать это я совершенно не в состоянии. Я буду решительно восставать против всякой попытки наложить в дальнейшем оковы на печать. В программе правительства точно указаны те случаи, когда цензура имеет право вмешательства. За исключением 4-х случаев, обусловленных интересами войны, печать ни при каких обстоятельствах не может быть лишена права беспрепятственно, свободно и открыто выражать свое мнение.

Тема об отречении императора, на мой взгляд, не военная, а политическая. Но даже, если принять искусственную конструкцию военной темы, в виду того, что император верховный вождь армии, то и тогда не могло бы иметь места вмешательство цензуры. Под цензуру поставлено не обсуждение любой военной темы, а единственно вопросы стратегического и тактического порядка, а также вопросы, связанные с военным снабжением. Поэтому я не вижу, чем могло бы быть обосновано право воспрепятствовать или хотя бы затруднить прессе обсуждение указанной выше темы.

Весь кабинет за отречение Вильгельма.

В последних числах октября принц Макс заговорил в заседании кабинета о „тяжелом вопросе“, об отречении императора. Без обиняков он заявил, что по имеющимся у него сведениям широко обсуждается вопрос, требуют за границей отставки императора или нет, а именно стоит ли Вильсон на той точке зрения, что император должен уйти? Он, принц, желает сделать заявление, что для него отречение императора мыслимо лишь как добровольный акт. Требуя свободы действия для императора, он должен оставить ее и за собой. И канцлер обратился прямо ко мне с вопросом: как я, в качестве представителя социал-демократической партии, отношусь к отречению императора. Я ответил ему, что не намерен в эту минуту взрывать кабинет требованием отречения императора. Правда, я считал бы самым счастливым выходом из положения, еслибы император решился, как можно скорее, добровольно отречься.

В течение дальнейших прений канцлер покинул заседание. Граф Редерн настоял на приходе Зольфа, который должен был дать справку об отношении к отречению императора за границей. Зольф, который был сильно занят в своем министерстве, пришел лишь некоторое время спустя и повторил то, что он уже повидимому докладывал канцлеру и что дало последнему повод поднять сегодня вопрос. Из нот Вильсона нельзя с необходимостью заключить, что представляется требование отречения императора, но многие другие обстоятельства доказывают что этого отречения ждут. Повидимому требуют, чтобы пал недавний яркий символ германского милитаризма. Можно допустить и то, что положение Вильсона в

Антанте будет вероятно во время переговоров лучше, если он добьется наделения императора.

В общем, я желал бы указать, что в этом заседании кабинета не раздалось ни одного голоса против ухода императора. Все статс-секретари и министры согласились с тем, что добровольное отречение императора облегчит положение. Военный министр Шейх указал, что фактов, которые требовали бы отречения императора, собственно нет, считаются же только с настроениями. Всякое давление, которое пытались бы оказать на императора, разрушительно подействовало бы, по его мнению, на армию. Генералы не стали бы больше вкладывать души в дело. Для того, чтобы избежать недоразумений, члены кабинета должны прямо подчеркнуть свои монархические убеждения и указать, что дело идет для них о тактическом вопросе. Эрцбергер защищал тот взгляд, что отречение императора несомненно принесет больше вреда, чем пользы.

Мое письмо к канцлеру.

Но народ все громче требовал отречения императора и все возрастало число голосов, которые требовали уже отречения и кронпринца. Я получал легионы писем, говоривших о том, что он должен быть устранен. Меня посещали люди из различных общественных кругов; государственные деятели, а также офицеры заявляли мне, что император не может оставаться на посту. Настроение в стране становилось хуже не с каждым днем, а с каждым часом. За несколько дней до обсуждения вопроса об отречении императора кабинетом—25 октября—меня посетил полковник Гифениг из Мюнстера. Он рассказывал мне чрезвычайно серьезные вещи о Рейнланде-

Вестфалии. Некоторые независимые депутаты совершенно открыто призывали на собраниях к революции. Редактор газеты в Золингене, Меркель, рассказал ему в четырехчасовой беседе, что через три недели все будет кончено. Все приготовления сделаны. Гифениг выражал уверенность, что, поскольку Меркель говорил о приготовлениях, он оставался в пределах истины. От времени до времени в газетах выдвигались требования отречения императора. Некоторые газеты были запрещены. Как уже указано, это вмешательство цензуры противоречило программе правительства.

Я заявил протест и потребовал предоставления печати свободы в обсуждении вопроса об императоре. Этому воспротивился кабинет. Все время делались попытки оттянуть вопрос. Это дало мне повод продиктовать и послать через посыльного следующее письмо канцлеру:

Берлин. 20 октября 1918 г.

„Вашему великогерцогскому высочеству имею честь предложить ко вниманию следующее. В заседании г. статс-секретарей мнение большинства склонилось к тому, чтобы временно установить соглашение с г. главноначальствующим, который воспрещает заявлять в печати требования отречения императора.

В программе, которой должно руководиться новое правительство и которую ваше великогерцогское высочество торжественно признали в заседании рейхстага 5-го октября текущего года, указано, что цензура временно действует только в вопросах военной стратегии, тактики, военного снабжения и производства, а также при обсуждении отношений к правительствам иностранных государств. Таким образом

область действия цензуры точно определена. Согласно этой программе, по г-на статс-секретаря Эрцбергера и моей инициативе, в заседании кабинета, происшедшем дней 8—10 назад, было постановлено отменить все ныне действующие постановления о цензуре и упразднить предварительную цензуру. В последующих заседаниях возникли разногласия. Некоторые из статс-секретарей были того мнения, что только что указанного постановления не было и что то или иное правило о цензуре должно остаться в силе. Воспрещение главноначальствующим заявлять в печати требования отречения от престола представляет прискорбный шаг в направлении к более резкому проведению цензурных правил.

После того, как у общественного мнения отнята возможность уяснения себе, путем дискуссии, вопроса, превратившегося в жгучий вопрос судьбы германского народа, перед кабинетом с удвоенной серьезностью встает необходимость обсудить этот вопрос и дать ему решение. По этой причине я считаю себя вынужденным предъявить в кабинете требование, которого нельзя ставить в печати, а именно: г.г. статс-секретари благоволят попросить г. имперского канцлера дать императору совет добровольно отречься от престола.

Обоснование:

Не может подлежать никакому сомнению, что значительное большинство германского народа убедилось в том, что пребывание императора на его высочайшем посту затрудняет возможность добиться сносных условий перемирия и мира. Если будет заключен неблагоприятный мир, во время пребывания императора на своем посту, то позднее императора и его правительство будут упрекать в том, что они пред-

почти тяжкий ущерб народу—необходимым выводам из раз создавшегося положения ко благу всех.

Нельзя далее сомневаться в том, что мирные переговоры открывают значительно более благоприятные возможности, если изменение режима, происшедшее в германской империи, будет сделано за границей и внутри страны путем смены на высшем государственном посту. Общее политическое положение наводит на мысль, что предлагаемый здесь шаг может быть оттянут, но отнюдь не избегнут. Поэтому лучше, чтобы император сейчас же как можно скорее сделал те выводы из общего положения, которые необходимо сделать по мнению большого числа германских государственных деятелей. Вашему великогерцогскому высочеству совершенно преданный

Ф. Шейдеманн.

Последние дни.

Канцлер был болен гриппом и попросил меня прийти на следующее утро к нему. Когда я вошел в 1/2 десятого в его спальню, он был бледен и выглядел очень утомленным. Он сидел, выпрямившись, на кровати. Протягивая мне правую руку, он высоко держал в левой мое письмо. Приветливая улыбка едва скрывала владевшую им печаль. Мне было его искренно жаль. Но политик часто попадает в положение, где вынужден стиснуть зубы.

— Благодарю Вас за письмо. Я всю ночь занимался им, но... прошу Вас, возьмите его обратно. Вы знаете, что я стараюсь осведомлять его императорское величество о настроениях. Император уйдет. Легче будет достигнуть добровольного отречения императора, если на меня не будут оказывать такого давления. Поставьте себя на мое место. Я знаю

императора с детства, мы оба были такого роста (он сделал соответствующее движение рукой), уже неделю я день и ночь занят этим вопросом. С Эйленбургом я уже говорил...

— Мне важно отречение императора, которое необходимо в общих интересах, а не то, оказывает ли мое письмо давление на Вас. Если бы у меня была уверенность, что решение будет принято со всею возможною быстротою, я, конечно, мог бы взять письмо обратно. Но, как я уже сказал, нельзя терять времени.

— Со всею возможной быстротой — что вы под этим разумеете?

— Если я возьму теперь письмо обратно, мне должна быть возвращена свобода решения, иначе я не могу оставаться в кабинете. Для полной ясности—я должен через 24 часа знать, как обстоит дело.

— Через 24 часа? Не дадите ли вы мне больше времени? Ведь дело идет о страшно важном решении.

— Уже целые недели!

— Да, я знаю. Каково настроение населения?

— Настроение ухудшается с каждым днем. Я еще не встретил вообще ни одного человека, который высказался бы за то, чтобы император остался на посту. Я говорил не только с рабочими и деловыми людьми, но и с государственными деятелями высокого достоинства. Один член Союзного Совета сказал мне, что один из союзных князей писал в одном из своих писем: он должен уйти. В Баварии совершенно серьезно говорят об отложении от империи. Действительно, нельзя терять времени.

Мы еще долго говорили. Я сказал ему, что вполне понимаю его точку зрения, ибо он, как, в противоположность мне, и другие статс-секретари, человек

монархических убеждений. Поэтому он должен ясно усвоить, что, желая сохранить монархию, как форму правления, он не может сделать ничего, кроме указания императору уйти. Никто не может знать, что принесут ближайшие дни. Если же, вследствие положения на фронте и тяжелого положения внутри страны, дело дойдет до большого народного движения, тогда нечего сомневаться, что потребуют не только отречения императора, но и замены монархии республиканской формой правления. Я взял письмо, которое он настойчиво протягивал мне, и сказал:

— Значит, до 12 часов завтрашнего утра.

Однако решение затянулось еще на целую неделю.

Ультиматум социал-демократической партии.

Несколько дней спустя 6 ноября состоялось заседание фракции, на котором я сделал доклад и потребовал полномочия уйти из состава кабинета, если император не отречется до 12 часов следующего утра. У кабинета не хватает смелости сделать выводы из положения и он оттягивает неотложное. Ни фракция, ни я не желаем и не можем нести за это ответственности. Во всяком случае должен был бы быть пред'явлен срочный ультиматум.

Во время обмена мнениями, некоторые медлительные люди советовали краткого срока в ультиматуме не устанавливать, потому, что иначе разобьется большинство рейхстага. Я был не мало изумлен таким отношением к делу и очень решительно восстал против тактики промедлений в час, когда мы стоим перед самыми серьезными шагами в германской истории. „Разве вы не чувствуете, что мы стоим перед крушением империи,—а вы говорите о крушении большинства рейхстага? Сейчас необходимо стать во главе движения, иначе в стране во-

царится анархия. Ведь надо чувствовать, что движение из Килия и Гамбурга завтра или послезавтра перебросится в Берлин. Может быть, еще можно избежать самого страшного, если император тотчас же отречется и, кроме амнистии, будет дано обязательство полной демократизации империи, союзных государств и местного самоуправления“.

На мою отставку не согласились. Как убежденный демократ, я и в этом случае подчинился большинству. Я ушел из рейхстага с тоскливым чувством, потому что опасался, что недостаточно оценивая знамения времени, мы совершали большую ошибку.

На следующий день, 7 ноября, было заседание президиума партии и фракций рейхстага. Рабочие и солдатские советы были „запрещены“ так же, как и назначенные на этот день собрания. Я еще раз и еще настойчивее требовал, чтобы мы ушли из правительства. События разворачиваются так катастрофически, а правительство так нерешительно, что мы не можем больше нести ответственность. Вельс был вполне согласен со мной. Кто знает, что даст завтрашний день, мы не можем брать на себя ответственности за кровопролитие. Давид: Уход в настоящий момент нам несколько не поможет. Отречения императора до вечера не добиться. Браун говорит то же, что я и Вельс. Приходим к соглашению, что император должен уйти до полудня завтрашнего дня. Относительно назначенных на сегодняшний день собраний, правительство должно дать указания военным и полицейским властям для того, чтобы те не делали глупостей. Что собрания должны состояться, разумеется само собою. Необходимо усиление социал-демократии в правительстве, следует также предложить независимым вступить в кабинет. Если правительство

будет все еще медлить, то социал-демократы должны будут уйти в отставку.

8-го ноября 1918 г. В 5 часов вечера заседание кабинета. Император, конечно, еще не отрекся. Вокруг люди сильно озабочены положением, которое установится после отречения. Кто тогда будет королем или регентом? Однако, кто бы это ни был, окажется ли подлежащее лицо тем самым также и главою германских союзных государств? А в то время, как предаются этим странным рассуждениям, здание империи трещит со всех концов, во всех углах.

Между тем президиум социал-демократической партии поддерживал все время теснейшее общение с представителями социал-демократов в крупных берлинских предприятиях. Эберт все время держал меня в курсе положения. Я был твердо убежден, что начавшего катиться камня не остановить. Изголодавшихся, изнервничавшихся за долгие годы напряженности, преследования и травли, рабочих, особенно больших предприятий, нельзя было больше успокоить. Эберт до последней минуты думал, что можно избежать общего восстания, если сейчас будет заключен мир и будут сделаны политические уступки. 8 ноября вечером я участвовал в заседании представителей предприятий, происходившем в зале заседаний президиума партии, я желал ближе ознакомиться с положением дел на фабриках и заводах и доложить о нем, поскольку его можно было усвоить, находясь на Вильгельмштрассе.

Мне стало совершенно ясно, что должно произойти чудо для того, чтобы берлинские рабочие не оказались завтра утром на улице. Я говорил об огромном потоке крови, который льется с 1914 года, и самым настойчивым образом просил не делать ничего, что повлекло бы за собой новое кровопро-

литие. Насилия не должно быть ни в коем случае, если поставленная цель может быть достигнута мирным путем.

„Я еще не теряю надежды, сказал я, на то, что император до завтрашнего утра отречется, и будут сделаны заявления по поводу других требований, предъявленных рабочими и солдатами по всей империи. Буде император до завтрашнего утра не отречется, я уйду из правительства, чтобы быть вполне свободным“.

Из того, что с величайшим спокойствием и обдуманностью говорили представители предприятий, мне стало совершенно ясно, что 9 ноября берлинцы выступят.

„Не позволять стрелять“.

В последние дни перед 9 ноября я непрерывно старался в кабинете и в беседах с отдельными членами правительства окончательно выяснить положение. Я высказывал определенную надежду, что социал-демократическим рабочим удастся избежать кровопролития, если войска, которые еще могут бороться за императора, не начнут стрельбы.

Я не верю в то, что в Берлине и его окрестностях могут найтись такие войска. События 9 ноября доказали, что в Берлине действительно не было ни одного человека, готового на борьбу за императора. Войска решительно перешли на сторону рабочих. Где были в Берлине верные императору организации, где были офицеры, которые хотя бы единым словом вступились за императора? Да куда вообще делись офицеры и верные императору политические деятели? Ни один человек не видел и не слышал тех, кто позднее стал так храбро говорить и писать.

День крушения.

Рано утром, 9 ноября, я позвонил по телефону к помощнику статс-секретаря Ваншаффе и спросил его, отрелся ли уже император... „Еще нет, но мы ждем отречения с минуты на минуту“. „Я жду еще один час, и если он не уйдет, уйду я“.

Около 9-ти часов я снова позвонил в государственную канцелярию. „Нет еще; может быть в полдень“. „Мне не нужно так много времени для решения. Пожалуйста, скажите канцлеру, что я оставляю должность. Через $\frac{1}{4}$ часа вы получите письменное заявление... Не следует спешить? Извините, прежде всего не следует медлить до тех пор, пока станет поздно“.

Вскоре после 9-ти часов утра мое письменное заявление об отставке было на Вильгельмштрассе. Оно гласило:

„Берлин, 9 ноября 1918 г.

Г-ну имперскому канцлеру.

Вашему великогерцогскому высочеству имею честь сообщить, что настоящим слагаю с себя обязанности статс-секретаря. Примите и проч. Ф. Шейдеман“.

Революция.

Народные депутаты.—Исчезнувшая армия.—Съезд рабочих и солдатских советов.—Общая конференция союзных государств.—Внешняя политика и независимые.—Восстания («Пучи») против Республики.—Первый бунт справа.—Кровавое Рождество.—«Правительство».—Либкнехт, Леддур и январьский бунт.

Первый день революции описывали не раз. Особенно—многочисленные герои, притязавшие на славу людей, сделавших „революцию“. Не хочу вмешиваться в споры специалистов о том, может ли быть революция сделана отдельными людьми. Начало ее было назначено теми, кто позднее желал закрепить за собою патент на 9 ноября, на совершенно другой день, так что им потом пришлось догонять стихийное движение, для того, чтобы хотя в глазах своих сторонников во-время и до некоторой степени оказаться во главе движения. Не „революционные старшины“ произвели переворот, а возмущившиеся солдаты. Только звучные фразы, заимствованные из русской словесной сокровищницы, были затем, так сказать, доставлены людьми, окружавшими Эмиля Барта, для того, чтобы революция приобрела должную окраску.

Берлин и его „нелегальная организация“ не были даже „первым очагом революции“, ибо Киль и Мюн-

хен предупредили его. Итак, я отказываюсь от исследования об авторстве революции, так же как и от детской сказки о том, что несколькими ящиками контрабандой добытых снарядов и револьверов можно сокрушить большое государство.

9 ноября было логическим концом проигранной войны, беспримерных лишений и отвращения к военным науськиваниям, которые все еще не хотели успокоиться и играли с преступной мыслью о „последнем усилии“. Это был протест против продолжения совершенно безнадежного избиения, которое к тому же—смотри прекраснодушные отчеты о последних месяцах войны—неизменно сопровождалось ложью и извращением истины. Это был именно тот день, начиная с которого не могло уже идти, как шло, и наступление которого мы предсказывали уже много лет. Вся вина за 9 ноября падает на тех, кто, вопреки всем предупреждениям, упорствовал в слепоте во внешней и внутренней политике до тех пор, пока стало поздно; на тех, кто не знал во внешней и внутренней политике никаких средств, кроме грубого насилия, и не хотел понимать, что ни один народ не в состоянии выдержать бремени таких испытаний. Генерал фон-Лизинген, 8 ноября „запретивший“ революцию, является их типичным представителем. В его лице соответствующий душевный уклад нашел себе, среди общего несчастья, бессмертно-смешное воплощение.

Чего хотела социал-демократия, какой путь она считала правильным, об этом подробно рассказывает эта книга. То, что она не могла привести на этот путь официальную Германию, послужило причиной заключительной трагедии. Ее борьба за признание мира на основах соглашения, без аннексий и контрибуций, ее борьба за внутренние реформы в консти-

туционной комиссии и наконец ее самоотверженное, достигающее почти самопожертвования, вступление в правительство, все показывает ее неустанную работу на пути эволюции, который общая опасность, повисшая над народом, сделала единственно возможным и правильным. Точно также и 9 ноября она была на высоте своей задачи. Мой призыв стать во главе стихийного движения, чтобы предотвратить полную анархию, был общим стремлением партии. Прежде всего социал-демократам обязан Берлин предотвращением кровавой бани, в которую грозило превратиться 9 ноября. Их представители, раньше всех мой друг Вельс, рано утром, когда на успех движения еще трудно было рассчитывать, пошел в казармы, говорил с солдатами и обратил ужасное возбуждение на путь бескровных мер. Найдись хоть бы один решительный офицерский корпус, с этими смелыми людьми было бы покончено и самое движение было бы, может быть, еще раз задушено. Такого офицерского корпуса не нашлось, также как не нашлось ни одного на практике верного кайзеру командующего. Ничто лучше не доказывает логической необходимости крушения, внутренней опустошенности старого режима и тем самым всемирно-исторического права на его свержение, чем трусость и молчаливое исчезновение всех, кто до тех пор, по происхождению и призванию, был собственно опорой престола. Никто не шевельнул пальцем. Я думаю, что какой-нибудь, полный надежд, претендент на корону уже приготовил список государственных изменников. Но не пролетарские имена составляют этот список, а имена тех, кто без борьбы, не проронив ни звука, очистил фронт королевства Гогенцоллернов.

Народные уполномоченные.

Итак, народные уполномоченные, так сказать, шестиголовый канцлер, заседали на Вильгельмштрассе. Независимых пришлось силою принудить к единственно возможной форме работы, именно к сотрудничеству обеих социалистических партий. Даже в день революции они не соглашались ни на что, разве только на образование правительства на 24 часа, для подписания перемирия. Нужно было собрание рабочих и солдатских советов в цирке Буш, где закричали Либкнехта, для того, чтобы друзья Гаазе вспомнили о своих обязанностях перед рабочим классом.

История возникновения и состав этого высшего правительственного учреждения, с заимствованным русским наименованием, внушали мало надежд. Обе партии делегировали сюда именно тех людей, которые в течение двух лет были вожаками обоюдной борьбы; то, что они до этого времени участвовали в руководящих органах одной и той же партии, скорее ухудшало, чем улучшало дело. Кроме того, из преклонения перед „революционными старшинами“, независимые провели в народные депутаты принадлежавшего к числу старшин Эмиля Барта, который, мягко говоря, ни по своим внутренним данным, ни по своему прошлому, не соответствовал этому посту. Все 9 недель совместного депутатства разворачивалась изумительная картина попыток Ландсберга воспитать Барта до уровня элементарных нравственных понятий. И позорно было поведение Гаазе, который каждый раз, прежде чем занять ту или иную позицию, испытующе косился на Барта, чтобы узнать, согласен ли он с ним, и этим показателем радикализма окончательно определял свою точку зрения.

Это была та типичная стратегия расчетов, на которой независимые потерпели крушение в качестве самостоятельной политической партии. В совете народных депутатов Эберт взял внутренние и военные дела, Ландсберг — финансы, Дитман — различные, Барт — социальную политику, а я — печать. При этом следует заметить, что ни один из народных депутатов не был самостоятельным управителем своего ведомства.

Каждый из них был скорее контролером, приравненным к соответствующему министру или министерству. Понятно, что отсюда возникали всевозможные конфликты: чаще всего между министром иностранных дел Зольфом и Гаазе. Эберт хорошо ладил с военным министром Шейхом, точно также Ландсберг с финансистами в министерстве и в государственном банке.

Дитман вскоре превратился в прилежного бюрократа. Барт произносил каждый день, в каждом заседании, перед своими пятью коллегами, громовые митинговые речи, которые были, правда, утомительны, но зато занимали так много времени, что пока он изливался в риторике, мы успевали справиться со срочной письменной работой. Решения всех политических вопросов принадлежали народным депутатам. Гаазе и Эберт должны были быть председателями с равными правами. Но Эберт, который по просьбе принца Макса Баденского (в полдень 9 ноября) был один день канцлером, совершенно заслонила своею энергией во всем половинчатого Гаазе. Он и работал в прежнем кабинете канцлера, тогда как другие разместились в приемных комнатах, а я в столовой, которая когда-то была рабочей комнатой Бисмарка. Помощником статс-секретаря был Бааке. Личным секретарем Эберта — Ген-

рих Шульц, а затем Франк Крюгер; моим секретарем, а затем начальником государственного управления печати был Ульрих Раушер.

Государство, а в особенности Берлин, в первые дни после крушения империи, были положительно сумасшедшим домом. Народ вырвался из мертвящих оков войны и в первом опьянении не знал, что ему делать со своей свободой. Ни у одного государственного органа не было больше определенной и бесспорной компетенции. Нагромождение учреждений и советов создавало невообразимую путаницу. Самое возникновение революции, не в центре, а во многих местах периферии, местный и ограниченный территориальными пределами характер революционных всплесков, определили и дальнейший характер новых властей. Везде местный произвол, обособленное управление небольшою местностью без связи с целым. Этим объясняется, что целый ряд городов и округов провозгласили себя независимыми советскими республиками, стали вести, прежде всего, собственную продовольственную политику, готовить невероятные стеснения транспорту и что-то делать на свой страх даже в области внешней политики.

Тот факт, что буржуазия совершенно омертвела, вызвал во многих рабочих и солдатских советах представление о монопольных правах социалистов, представление, которое не только тогда было жестокой, тяжело мстящей за себя логической ошибкой. То, что многие из этих стражей социализма услышали о нем 9 ноября в первый раз, конечно, не улучшало дела. Напротив, эти неофиты, в тысяче случаев, оставляли далеко позади старых, сведущих товарищей по партии, а несколькими спартаковскими фразами не раз увлекали сверстников этих послед-

них в свое социалистическое мировоззрение. Движение машины до некоторой степени поддерживалось в эти недели единственно воспитанным в политических и профессиональных организациях ядром рабочего движения и верным своим обязанностям чиновничеством, которое продолжало работать под руководством новых начальников. Буржуазия, как таковая, испытывала только страх; гг. консерваторы пошли так далеко, что исключили свои лозунги из заголовков газет, а социал-демократию — внимайте и удивитесь — признали в качестве государственно-охранительной силы. Этот наплыв чувств потом улегся даже в тех, кто в первые недели являлся к занявшим государственные посты социал-демократам и заявлял о своих симпатиях. Единственный раз буржуазия заявила о себе официально в письменной форме, когда председатель рейхстага, Ференбах — 10 ноября он, как и большинство руководителей буржуазных партий, поспешно покинул Берлин, ничуть не заботясь ни о занимаемой им должности, ни о своих обязанностях — заявил протест против устранения рейхстага от работ и угрожал его созывом. Это бумажное наступление опиралось единственно на силу прямого письменного заявления.

Частной собственности даже в эти первые неспокойные недели почти не трогали. Это тем более заслуживает упоминания, что „народные“ летописцы капповского бунта усматривали его неудачу главным образом в недостаточном пользовании стенкой, к которой политические противники приставляются дюжинами. Только в типографиях буржуазных газет дело дошло до больших перепалок — „захват“ берлинских буржуазных газет произошел 9 ноября совершенно по русскому образцу. Однако, затем, по-

степенно, с полного согласия независимых депутатов газеты были возвращены по принадлежности. Тем не менее еще целые недели, после того, меня положительно бомбардировали телеграфными заявлениями о незаконных цензурных вмешательствах какого-нибудь солдатского совета, о неправомерном занятии или даже разрушении какой-нибудь типографии.

В качестве народного депутата и еще раньше стас-секретаря, я со всей энергией боролся с цензурой, этим беспомощным проявлением бюрократической ограниченности. И вот теперь мне приходилось по моему ведомству бороться с такими же, а часто еще худшими злоупотреблениями со стороны людей, которые именовались, по крайней мере, в членских книжках, моими товарищами по партии. При этом самым ужасным было то, что у меня и у нас вообще не было в распоряжении никаких путей властного воздействия. Приходилось просить, напоминать, без возможности сообщить своим указаниям нужную силу. Я помню одного алленштейнского референдаря, который стал внезапно радикалом и социалистом, долго травил местную буржуазную газету, иногда запрещал ее, а один раз даже хотел обязать ее предоставить одну страницу для использования ее партией.

Исчезнувшая армия.

Германская исполинская армия исчезла с лица земли и оставила позади себя калек, которые смотрели на санатории, лазареты и казармы, как на пристанище, которые иногда перед лицом приближающейся зимы вынуждаемы были так смотреть на них, которые были баклуши, пополняли улич-

ные демонстрации и готовы были на все, кроме военной службы.

Большую часть они выбирали себе своеобразных и потому самых удобных вождей, как например известного Спино, который вместе с несколькими чиновниками министерства иностранных дел, а главное на их деньги, устраивал восстания, или пресловутого графа Вольфа-Меттерниха.

Здоровые элементы возвращавшейся домой армии находили себе, понятно, дело поумнее игры в солдатского депутата и грызни на собраниях. Таким образом происходил самый нежелательный отбор. Хорошие уходили, дурные оставались. Солдатские депутаты, которым мы вначале были обязаны покоем, порядком и неприкосновенностью не одной провинции, которые большую часть образцово вели себя и на фронте, постепенно утрачивали свое значение. Советы превращались все более в бессмысленные продовольственные учреждения, в собственную тень, ибо, продолжая существовать, они не имели за собой никаких других организаций.

Заведывание провиантским складом или складами обмундирования было наибольшей реальностью под этой тенью. Рабочие, которые были дальше всего от социализма и перед самой революцией составляли желтую гвардию предпринимателей, превратили революцию, по меткому слову Эмиля Барта, в платное движение. Эта категория солдат надеялась извлечь из революции пенсию на долгие годы.

Одна из любимейших националистических фраз гласит: мы—читай социал-демократия—после крушения империи и первого перемирия сами себя разоружили. Это неправда, и каждый современник и очевидец должен это знать. Конечно, народные депутаты, а вместе с ними и все буржуазные статс-

секретари считали важнейшей задачей как можно скорее демобилизовать возвращающуюся миллионную армию. Это было необходимо по продовольственным соображениям. При тогдашнем продовольственном положении не было ни малейшей надежды на достаточно регулярное снабжение многочисленной армии. Надо было надеяться, что человек, которому будет по возможности облегчен переход к гражданской жизни, скорее найдет себе место и обеспечит свое пропитание в общем продовольственном процессе. Это и подтвердилось. Кроме того сохранение бывших армий при том отвращении к военной дисциплине и военному начальству, которое оставили в наследство переживания войны, были в первые недели прямо неразрешимой задачей.

Конечно, это было некрасивое зрелище, когда подростки и солдаты старых призывов 9 ноября срывали с офицеров погоны и бросали их на землю. Но еще менее красиво было то, что в бесчисленных случаях, в течение 4 военных и долгих мирных лет, разыгрывалось в блеске этих погон. Пусть много невинных искупило чужую вину, пусть форма, в которой проявились злоба и мщение, не свободна от упреков, к сожалению, эти проявления возмездия совершенно понятны, и все, кто негодует против расправы с погонами, не должны в то же время забывать, что в этой расправе не пострадала ни одна человеческая жизнь. Этого нельзя сказать о взрывах буйного патриотизма в августе 1914 года.

Многим эта борьба с форменным платьем может показаться смешной, почти как спор о костюме. Для нас она тогда совсем не была смешна. Серые шинели хотели уничтожить символ и тем выразить свою волю к уничтожению прежних форм офицерского господства.

Наиболее резкое выражение нашла себе эта борьба с офицерской кастой в так называемых гамбургских пунктах, принятых первым съездом советов 16 декабря. Согласно этой резолюции правительство должно было выполнить соответствующие пункты и в то же время создать новую армию: квадратура круга, иначе говоря, нечто невозможное. Это положение дела в связи с изложенным выше делало невозможным дальнейшее сохранение воинских частей. Лучшим примером служат войска генерала Лекиса. Они либо были заражены общей болезнью и потому совершенно непригодны в военном отношении, либо в полном молчании разбрелись по домам. Факт тот, что когда вспыхнула так называемая ледебуровская революция в январе 1919 года, то нельзя было выставить ни одного солдата, хотя на бумаге и прежде всего в ведомостях на уплату жалованья в Берлине значился гарнизон в десятки тысяч солдат. И правительство вместе с государственной организацией вообще, и с самым бытием государства было бы просто сметено, если бы наши невооруженные товарищи, с утра до ночи наполняя Вильгельмштрассе, не образовали таким образом живого вала вокруг своего правительства.

Съезд рабочих и солдатских депутатов.

Трудно говорить о главных задачах, поставленных перед народными депутатами.

Одновременно с военной катастрофой последовало внутреннее крушение; с возвращением армии и освобождением бесчисленных рабочих рук возникла катастрофическая безработица, остановка почти всей промышленности. Неслыханные условия перемирия,

прежде всего возмещение натурой огромных убытков, должны были быть выполнены в кратчайший срок и в величайшем порядке, а между тем административный аппарат нигде не работал правильно, и местные власти ставили не раз палки в колеса.

То, что с большим трудом сохранялось в хозяйственном укладе во время войны, было опустошено до неузнаваемости непрерывными стачками. Транспорт, после выдачи паровозов и вагонов, почти омертвел, уголь, который удавалось добывать, несмотря на постоянные беспорядки, оставался не вывезенным, а с занятием Рейнланда и Пфальца связь с западом, благодаря неслыханным паспортным затруднениям, почти совершенно оборвалась. В это же время последовало вторжение поляков в Познань, и возникла опасность для Восточной Пруссии и Верхней Силезии. Новые правительства союзных государств, особенно сверх-революционное баварское правительство Эйснера, оказались не менее партикулярно настроенными, чем старые. Дошло даже до буффанады, в которой посол Эйснера прервал сношения с берлинским министерством иностранных дел, и до менее веселого и безобидного назначения Ферстера баварским послом в Швейцарии с одновременной попыткой завязать самостоятельные сношения с Клемансо. Дилетантской политике Эйснера соответствовала его вера в то, что условия мира будут мягче, если против реакционных мировых „политиков силы“ будут стоять радикальные пацифисты, иначе говоря независимые социал-демократы.

Все это дает представление о том огромном количестве забот и трудов, которым были обременены народные депутаты. Их первая декларация принесла осуществление множества демократических и социалистических требований, за которые борьба ве-

лась десятилетиями. Но одной декларации было мало, и покой еще далеко не был восстановлен, тем более, что, например, в момент введения 8-ми-часового рабочего дня руководимое в то время Розой Люксембург „Красное Знамя“ подняло жесточенную агитацию за введение 6-ти-часового. Две вещи представлялись настоятельно необходимыми: во-первых, координация новых революционных властей, рабочих и солдатских советов, и, во-вторых, укрепление связи между союзными государствами, которые в беспорядке переворота оказались совершенно изолированными одно от другого. Что рабочие и солдатские советы нуждаются в объединяющем центральном совете—было общепризнано. До первого съезда советов таким объединяющим органом был присвоивший себе эту власть берлинский исполнительный комитет. Этот исполнительный комитет постепенно втянул всех тех, кто „делал“ революцию. Капитан фон Бесерфельт, обер-лейтенант Вальц, Рихард Мюллер—„труп Мюллер“, Ледебур, Деймиг, и целый ряд неизвестных людей, для которых комитет был удобным способом воровать или устраивать на хорошо оплачиваемых местах своих невест, комитет ничего не сделал, но не мало испортил нам в то время крови. В качестве главы рабочих и солдатских советов, он представлял высшее учреждение в государстве и не мог понять того, что—буде у него на это хватит силы—призвание и смещение народных депутатов должно исчерпывать круг его компетенции, а исполнительная власть во всем объеме должна сосредоточиваться в руках депутатов. Так как он ничем не занимался, кроме прений—Ледебур утонал в блаженстве от возможности говорить с утра до ночи—то ему казалось правильным то и дело отрывать и нас от работы вечными бурными

заседаниями, где большей частью шла речь о самых смешных пустяках.

К счастью, первый съезд советов положил конец этой революционной романтике. Он доказал две вещи. Во-первых, как мало корней, несмотря ни на что, пустили „независимые“—за нами было значительное большинство и прежде всего ядро опытных и испытанных людей. И во-вторых—каким ненадежным и неопытным элементом в политике были солдаты. Они образовали свою фракцию, а между тем почти все в первый раз слышали о политике. Это доказывает также совершенно неполитическое происхождение 9 ноября.

Съезд советов, как уже указано, принял гамбургские пункты. В этих требованиях обычно нерешительные и чуждые определенного направления представители солдат были совершенно солидарны. Далее, он избрал центральный, представляющий государство в целом, совет, в который независимые, потребовав себе число мест, не соответствовавшее соотношению сил на съезде, не вошли. И наконец, после бесконечной борьбы с Гаазе и его сторонниками, он назначил срок созыва национального собрания. Уже девятого ноября независимые наотрез отказались от всяких соображений о национальном собрании. Когда были созваны народные депутаты, мы добились только того, чтобы вопрос был отложен. Теперь срок был твердо установлен „революционной организацией“, что впрочем, не только не удержало крайних от продолжения борьбы, но даже, наоборот, послужило сигналом к январским и мартовским волнениям.

Делались даже попытки подчинить все работы съезда самому грубому давлению улицы. Это было время, когда Карл Либкнехт ежедневно собирал своих

сторонников в Аллее Побед. Принципом было ни за что не допускать успокоения, все время „поддерживать течение Ахерона“, прежде всего гнать на улицу безработных, или—что то же самое—солдат. Помню один дождливый воскресный вечер в ноябре. Эберт и я вместе с тогдашним военным министром Шейхом были заняты работой в канцлерском доме, как вдруг сообщили о приближающейся демонстрации. Закрыли чугунные ворота и погасили свет в окнах на улицу. Шествие приблизилось в темноте, с красными флагами, кровавыми плакатами, непрерывными криками: „Долой Эберта—Шейдемана. Да здравствует Либкнехт“. Массы, запрудившие площадь Вильгельма, стояли перед чугунными воротами, мы стояли в одной из темных передних комнат, как на острове. Постепенно установилось спокойствие. Либкнехт говорил, стоя в автомобиле. Короткими фразами, монотонно, все одно и то же: дикое возбуждение, словно опьянение своею властью и присутствием своих приверженцев. „Там сидят они, предатели шейдемановцы, социал-патриоты. Мы сегодня же можем покончить с этим гнездом“. Сочувственное рычание... И вдруг драма превращается в сатиру. В другом корпусе канцлерского дома появился свет и открылось окно. Эмиль Барта показался народу. Он мог быть спокоен за себя, его не могли считать предателем, он ведь сделал революцию, освободил народ. „Товарищи!“ Но он обращался не по адресу. Здесь он мог на опыте узнать, что такое народное расположение и как долго можно опираться на столь несокрушимые заслуги, какие числились за ним в первом „очаге революции“. „Заткните рот. Этакий нажравшийся. Тоже, наверное, набил уже карманы“. Ему едва дали начать говорить, и сцена, начавшаяся

нафосом Либкнехта, окончилась вульгарной перебранкой между отцами революции.

Сначала с'езд советов считался идеалом, венцом движения. Но как только выяснился перевес социалистического большинства и нежелание пускать куда бы то ни было Либкнехта и Розу Люксембург—их никуда не избирали, — с'езд превратился в орудие „контр-революций“, с которым была начата борьба. Либкнехт привел свою толпу, устроил правильную осаду ландтага, где происходили заседания, и проклинал с балкона заседавших в зале „прислужников буржуазии“. От времени до времени делегаты радикально настроенных предприятий ломали рогатки у входа и прокладывали себе путь в зал. Знамена, плакаты, громовые декларации от имени сотен тысяч, числа нулей которых нельзя было проверить—так проходили они перед местом президиума. Как волны, которыми разлилось вышедшее из берегов человеческое море Берлина. Было чудом, что это терроризируемое собрание решилось вынести „контр-революционную резолюцию о созыве национального собрания“.

Общая конференция союзных государств.

Общая конференция союзных государств собралась 25 ноября в зале конгрессов в канцлерском доме. Она дала положительные результаты: признание необходимости сохранить единство государств. Указывали и на сепаратистские выпады, о которых выражалось сожаление: переговоры Эйснера с Францией, попытка Гамбурга, под влиянием Лауфенберга, завязать сношения с советской Россией. В общем же первое место занимали два вопроса: мир и национальное собрание. Основой для прений о мире служили очень

неудачно прочитанный по записке доклад Зольфа, который, повидимому, совершенно не знал ни своих слушателей, ни их воззрений. За очень небольшим исключением, присутствовали только социалисты и среди них радикальнейшие вожди „независимых“. Зольф же старался доказать, что не будет ни мира, ни продовольствия, пока не установятся „спокойствие и порядок“, что в то время было равносильно полному заглушевыванию всех революционных перемен; кроме того, он предсказывал конец господства большевиков и говорил о „сильных течениях в пользу конституционного государства“ в России. То, что он высказался за скорейший созыв учредительного собрания, и притом не в Берлине, было тактически совершенно неуместно. Он дал Эйснеру блестящий повод представить его воплощением дореволюционной косности и затем развернуть свою фантастическую программу. Эйснер утверждал, что воля Антанты направлена прежде всего на устранение людей старого режима, что условия Клемансо обращены против Вильгельма II, а не против германского народа. Господство в Германии радикальнейших людей соответствует желаниям Антанты, лишь бы эти люди не были неподвижны.

На следующий день после баварской революции Антанта была готова смягчиться. Лучше всего поставить во главе государства президиум из пяти или семи человек, которые затем начнут переговоры с противниками.

Не вхожу в детали прений. На утверждение Эйснера, что условия перемирия направлены не против народа, я ответил вопросом: кто вследствие тягости этих условий голодает и холодает, Вильгельм II или народ? Все участники понимали, что переговоры должны быть поручены новым людям,

но никто не разделял надежд Эйснера. Для курьеза хочу еще упомянуть, что было и несколько твердокаменных—они теперь как раз на пути в Москву—которые утверждали, что социализация важнее мира и должна быть осуществлена, хотя бы часть нашей территории была вследствие этого занята противником. Те же твердокаменные были, разумеется, и против национального собрания, которое Эйснер с Гаазе и Бартом также желали отложить на неопределенное время в „качестве купола, а не фундамента здания“. Значительное большинство, однако, особенно южные делегаты, признали учредительное собрание единственным средством сохранить единство государства и единственной инстанцией для заключения мира.

Внешняя политика и „независимые“.

Во внешней политике все вращалось, конечно, вокруг мысли о предстоящем заключении мира. Можно сказать без оговорок, что ни один политический деятель в Германии не ожидал документа такой чудовищности. Каутский, который тогда работал в министерстве иностранных дел, высказывал взгляд, что условия мира будут не так тяжелы, как условия перемирия. Особенно рассчитывали на то, что состоятся подлинные переговоры. Непосредственных сношений с неприятельскими государствами у нас не было. Поэтому приходилось пользоваться услугами осведомителей, прежде всего в Копенгагене и Берне. В Копенгагене еще сидел граф Ранцау, который оказал во время войны большие услуги, чем кто-либо другой. В Берне господина фон Ромберга заменил мой товарищ по партии Адольф Мюллер. Граф Ранцау пользовался доверием датского, как Адольф Мюллер доверием швейцарского прави-

тельства в высочайшей степени. Своими сообщениями они оказывали существенное содействие нашей тогдашней внешней политике. С тем, что д-ру Зольфу задача не по плечу, были согласны все. Поэтому уже наперед заботились о назначении ему преемника. Положение Зольфа обострилось, когда по радио пришло заявление Иоффе, в котором прежде всего в точных цифрах исчислялось, сколько русских денег получил народный депутат Гаазе за возбуждение германской революции. Зольф пришел с этим радио в заседание кабинета, не взял протянутой Гаазе руки и начал обвинительную речь. Как известно, Гаазе так же, как Барт, энергично отрицал получение каких бы то ни было русских денег на политические цели. Таким образом остается притти к изумительному выводу, что Иоффе заведомой лживой телеграммой хотел дискредитировать ближайших сторонников своей партии. Нельзя однако сказать, чтобы такое предположение уясняло что-нибудь во всем этом инциденте. Впрочем, Гаазе не остался в долгу перед Зольфом; на упомянутой выше конференции он заявил, что между ним и Зольфом были многочисленные разногласия, еще более углубленные речью Зольфа, и что статс-секретарь не раз уклонялся от контроля уполномоченного Каутского.

Гаазе был народным депутатом по ведомству внешней политики, Каутский был уполномоченным по тому же ведомству. Это надо помнить, когда дается оценка мероприятиям этого периода в отношении Советской России. Незадолго до революции посол Иоффе был выслан, потому что в русском дипломатическом багаже был обнаружен материал для пропаганды большевизма в Германии. Само собою разумеется, что после падения монархии первой заботой Москвы было возвращение посла в Бер-

лин. Посол был задержан со своим поездом в Минске, потому что германским представителям не давали уехать из Москвы. Уже 15 ноября в порядке дня кабинета было обсуждение запросов Чичерина, а также воззваний, прямо направленных против существования правительства народных депутатов. 16 ноября Гаазе оказался уже в состоянии доложить о разговоре по прямому проводу с Москвой, в котором Чичерин сообщил о наступлении Антанты на Россию и притом одновременно с Балтийского моря и через Одессу. В связи с этим было единогласно решено сохранить нейтралитет в отношении как Антанты, так и советского правительства, то-есть занять ту же позицию, которая позднее была занята в русско-польской войне.

18 ноября было подробно обсуждено отношение к советской России. Гаазе сделал доклад в присутствии Каутского и русского докладчика Надольного. По его словам, все сообщения наших представителей за границей указывали на то, что Антанта готова предложить Германии при нынешнем правительстве подходящие условия мира, а также снабдить ее продовольствием. Но все это до тех пор, пока в Германии нет большевизма. Поэтому необходимо обороняться от русской пропаганды, а в то же время сохранять мирные отношения с советским правительством. Результатом обсуждения вопроса была подписанная Зольфом и Каутским телеграмма русскому совету народных комиссаров следующего содержания:

„Вопросы, возбуждавшиеся членами русского правительства в разговоре по прямому проводу с народным депутатом Гаазе, так же как и в различных телеграммах, обращенных к членам германского правительства, были поставлены в порядке дня в

кабинете германского народного правительства. При этом было высказано следующее.

1. В Германии получено радио русского правительства ко всем рабочим, солдатским и матросским советам Германии, гласящее так:

„Солдаты и матросы, не выпускайте из рук оружия, иначе капиталисты погонят вас в армию. Надо, с оружием в руках, действительно везде захватить власть и учредить рабоче-солдатско-матросское правительство с Либкнехтом во главе. Не позволяйте навязать вам национальное собрание. Вы знаете, куда привел вас рейхстаг“.

Германское народное правительство не может не усмотреть в этом обращении к народу попытки вмешательства во внутренние дела Германии, каковая попытка в нынешних условиях может повлечь за собой тяжелый вред для германского народа. Германское правительство готово жить со всеми государствами, в том числе и с Россией, в мире и добрых отношениях, но оно обязано требовать уважения к праву германского народа на самостоятельное ведение своих внутренних дел и воздержания от всякого вмешательства в последние. Кроме того указанный выше призыв к образованию правительства на основах и для целей, отличных от тех, на коих пойдется и к коим стремится нынешнее германское правительство, не позволяет судить о позиции, занимаемой советским правительством в отношении нынешнего германского правительства. Если советское правительство желает поддерживать с ним нормальные отношения, то для германского правительства должно быть ясно, что русское правительство его признает и не поддержит другого правительства в Германии.

2. Непризнание русским правительством германских генеральных консульств в Москве и Петербурге не может почитаться правомерным. После того, как русское правительство допустило функционирование этих германских органов и долгое время с ними работало, а также после того, как германское народное правительство дозволило русскому правительству считать эти органы и впредь правомерным германским представительством, недопустимо было внезапно отказать им в признании. Кроме того по полученным сведениям, незакономерное само по себе смещение консульств германскими рабочими и солдатскими советами было произведено ими не по собственной инициативе, а по предложению и при содействии русских властей.

В виду сего германское народное правительство в согласии с исполнительным комитетом германского рабоче-солдатского комитета решило, предварительно восстановления обеими сторонами дипломатических представительств, просить русское правительство о следующем:

1) О прямом признании нынешнего германского народного правительства и о признании своей обязанностью воздержания от всяких попыток влиять на германский народ, в пользу образования другого правительства.

2) О расследовании событий, имевших место при смещении германских генеральных консулов.

По пункту 1 германское правительство считает возможным ждать соответствующего заявления. В качестве исполнения просьбы пункта 2, германское правительство ждет предоставления германским генеральным консульствам возможности беспрепятственного, наконец, выезда из Москвы для возвращения в Германию, а также просит дозволить кому-либо

из членов германских рабочих и солдатских советов в Москве или Петербурге выехать в Германию для осведомления о подробностях возникновения советов, организации их и выяснения всех других, касающихся их положений и полномочий вопросов“.

Эта телеграмма, отправленная главным образом трудами виднейших представителей независимых, яснее всего показывает, какую политику намеревалась вести Германия народных депутатов в отношении Москвы.

О более тесных связях, тем более о союзе, нельзя было и думать. Это сделало бы совершенно невыносимым наше положение в отношении Антанты, которая могла бы обратиться ко всем принудительным средствам политики перемирия. Избегали даже всяких отношений, которые могли быть либо неправильно истолкованы, или использованы во зло. Так, военным властям Ковно, которые просили указаний, о том, как поступить с советской делегацией, ожидавшей разрешения на въезд в Германию, было сообщено, что делегацию просят отказаться от приезда.

В то же время кабинет оборонялся от советской пропаганды и от вмешательства во внутренние германские дела. И именно представители независимых никогда не заикались о том, чтобы идти рука об руку с Москвой. Еще 27 декабря, за день до выхода независимых из правительства, кабинет обсуждал польское предложение, которое должно было привести к договору о поставке оружия. Гааге возражал против такого договора не из чувства солидарности с Москвой, а потому, что он считал большевиков в военном отношении сильнее поляков и опасался, что в случае поражения последних с нами будет поступлено, как с их сообщниками. А Каутский записал несомненно правильную точку зрения на

договор, как на ловушку для вовлечения нас в конфликт; с большевиками, говорил он, надо быть очень осторожными, потому что они пробовали подорвать возможность мирного договора Германии с Антантой.

Такова была в общих чертах политика, которую вели в отношении русских народные депутаты, под руководством независимых; она соответствовала нашим потребностям и потому была единственно правильной. Кроме того, оглядываясь назад, испытываешь приятное удивление от того, сколько реально-политического чутья обнаруживали люди, преемники которых осенью 1920 года в большом числе душой и телом продались Москве, ведя при этом предательскую игру для раздражения Антанты детскими и в то же время смертельно опасными провокациями.

Бунты против республики.

Картина нашей революционной работы была бы совершенно неполной, если бы, изображая колоссальные размеры подлежащих разрешению задач, она не рисовала в то же время условий, в которых должна была осуществляться наша работа.

Бочка с порохом в качестве символа не достаточно точно изображает устойчивые и уютные наши кресла в министерствах. Мы работали днем и ночью среди постоянной опасности взрывов, которые нередко превращали Вильгельмштрассе в далеко не достаточно защищенную крепость. Я не намерен изображать различные пигмейские революции и бунты главными событиями революции. Почти все они были связаны с кровопролитием и это обеспечило им печальную и позорную память. Достаточно вспомнить: 9 ноября старое государство окончательно рухнуло, настолько окончательно, что от сильнейшей его опоры, армии,

едва оставались развалины. Общее положение, особенно условия перемирия и грозивший мирный договор, естественно ставили некоторые пределы преобразованию старых учреждений. Понятно, что было невозможно спокойно отремонтировать и обновить машину, которая не могла ни на минуту остановиться, и даже наоборот—вследствие потребностей, вызванных проигранной войной, должна была исключительно напряженно работать. Но крушение империи устранило, по крайней мере, внутреннее неравенство и несвободу, каждому легально проявлявшемуся мировоззрению был открыт свободный путь. Обе рабочие партии держали в своих руках высшую правительственную власть. И тем не менее, „углубление революции“ ни на один день не прекращалось, были даже люди, которые намеревались превратить революцию в длительное состояние. То, что массы, после 9 ноября, перенесли государственную власть на своих доверенных людей, не отправились просто по домам, чтобы продолжать обычное дело, с того места, где оно остановилось перед революцией, было совершенно понятно. Еще кипели в них ненависть и негодование против старого государства, собранные в долгие годы мира и войны. Они не могли сразу установить нужное отношение к новому государству, не могли то государство, которое вчера было врагом и угнетателем, сегодня считать другом или даже своим достоянием. Они могли это тем меньше, что этот друг был еще обременен всем несчастным наследием кровопролитной войны, и значит, не мог улучшить условия их жизни и смягчить их нужду. Кроме того, должно было пройти первое упоение непривычной свободой, надо было освоиться с новыми условиями, надо было ознакомиться с новыми правами и научиться пользоваться ими. Революционные недели

для измученного до мозга костей пролетариата были как бы передышкой, после 4-х лет непрерывной работы или сидения в окопах. Гисбертс как-то сказал: народ, у которого позади такая война, имеет право несколько недель быть пьяным.

Таким образом массам нельзя вменить в вину того, что произошло при республике и против нее, с ноября по январь и затем еще раз в марте месяце. Тем более должны мы кровавые события, уличные стычки, захваты газет и нападения, происходившие в то время, отнести на счет тех, кто знал, что все это было ничем иным как самоуничтожением пролетариата, борьбой рабочих против рабочих. Революционная романтика, которая не мыслила переворота без кровопролития, и мания величия, почитавшего себя недостаточно удовлетворенным, праздновали на улицах Берлина оргии, где массы были тем же пушечным мясом, что и во времена Вильгельма II.

„Вожакам“ множество раз вменяли в вину отсутствие единства в пролетариате; кто следил за моими постоянными усилиями создать это единство, тот признает, что на мне такой вины нет. Если же кто-либо из вожаков виноват в кровопролитиях, в создании пропасти между людьми одного класса, то это те, кто в республике, созданной рабочими, боролись тем же бессильным и самоубийственным оружием, что и в милитаристическом государстве, и кто ручными гранатами и снарядами пытался разрушить несомненную волю большинства пролетариата.

Первый бунт справа.

„Кровавые собаки Эберт и Шейдеман“. Берлин снова был полон этих криков. Но Уинтер ден Линден и Вильгельмштрассе непрерывно проходили демонстра-

ции, возбужденные до хрипоты и безумия. Душою движения были так называемые „революционные старшины“ с Карлом Либкнехтом во главе. Ноябрьские недели общим своим возбуждением и общим сознанием рабочего класса, что им завоевано ценное достояние, которое он обязан защищать, не подготовили благоприятной почвы для распыления всего движения. Правда, в Аллее Побед, которую Либкнехт избрал сборным пунктом своих шаек, каждый день доходило до ссор и драк. У шоффера канцлерского автомобиля, в котором я часто ездил вдоль Тиргартена домой, были тоже неприятные встречи: когда он проезжал в пустом автомобиле по Тиргартенштрассе, то его остановили несколько спартаковцев, которые открыли двери автомобиля и искали „предателя“. Ходить по улице пешком было невозможно.

Новое возбуждение вызвала в крайней левой, усилившейся к тому же советом безработных и советом дезертиров, торжественная декларация Антанты, об'явившей большевиков при занятии Одессы вне закона; по газетным сообщениям из Петербурга, вследствие этого неслыханного об'явления вне закона, среди рабочих была устроена ужасающая кровавая баня. Понятно, что такие известия должны были сильно волновать германских рабочих. Они считали, что русский рабочий класс водрузил знамя свободы, которое теперь желала низвергнуть Антанта. Но и на другой стороне замечалось движение: реакция чуяла весну. Она думала, что настал момент убрать все революционные декорации, чтобы прежде всего свести счеты со всем социалистическим и пролетарским. Эта мысль породила комический бунт 6 декабря. Его инициаторами было несколько молодых людей из министерства иностранных дел, которым разумеется не

нравилось новое направление, граф Матушка и фон-Рейнгабен. Инсценирован он был на деньги фон-Штума, который тогда руководил отделом информации. К ним присоединились две в высокой степени подозрительные фигуры, упомянутый уже Спиро и некий Фишер, который в Коенгагене позднее занимался сомнительным репортажем. Во главе нескольких сот солдат и студентов эти герои продефилировали перед государственной канцелярией, провозгласили там Эберта президентом, на что Эберт, разумеется, не отозвался, и ворвались в помещение палаты господ, где арестовали ненавистный исполнительный комитет. Правда, через час был водворен полный порядок, но только потому, что все начинание было делом нескольких смешных и бесполовых людей, у которых не было ни осмотрительности, ни мужества. Во всяком случае характерно, что в революционном Берлине высшие государственные власти могли быть просто захвачены, как какой-нибудь нелегальный игорный дом. Но самое печальное было то, что эта глупая выходка стоила человеческих жизней. Она врезалась в чрезвычайно напряженное настроение, которое в тот же вечер разрешилось удичной борьбой между солдатами и рабочими, взволнованными чудовищно преувеличенными слухами о реакционном государственном перевороте. Свыше 40 пролетарских трупов снова лежало на улицах Берлина. Следующие кровавые события возникли на другой стороне. Под руководством Либкнехта они странном образом были направлены против человека, который позднее должен был стать душой самой большой попытки к бунту, а именно против независимого президента полиции Эйхгорна. На одном из спартаковских собраний было решено сместить Эйхгорна и захватить помещение президиума полиции. Несколько сот человек пришли на Александер-плац,

и там дело дошло до настоящей перестрелки, в результате которой на месте осталось несколько убитых. Как я уже сказал, первый съезд советов 16 декабря прошел весь под знаком кровавых демонстраций небольших кучек, за которыми никого не было. Особенно характерно было вторжение страшно радикально настроенной группы солдат, которые якобы именем расположенных в Берлине воинских частей заставили впустить их на съезд и изложили свои требования при невероятном шуме всего собрания. Некоторое время спустя выяснилось, что ни одна из якобы заинтересованных в этом выступлении воинских частей ничего о нем не знала. Между тем Либкнехт произносил на улице свои обращения; тогда как, до открытия, съезд приветствовали, как высшую власть Германии, теперь Либкнехт гремел: „В Берлине не будет больше покоя, рабочие не позволят запереть их на заводах. Они будут контролировать этот съезд и внушительными демонстрациями подобно сегодняшней, навяжут этому съезду свое мнение“. Понятно, что меня эти сверх-радикалы поносили самым ужасным образом: „Предатель народа, подлец, негодяй“—все эти любезности сыпались на меня, как раз когда я говорил по вопросу о „согласительном предложении“. Когда на выкрик: „прежде всего уберите Шейдемана“ я ответил: „через полчаса я все равно пойду обедать“, то зубоскалы были, разумеется, на моей стороне и, в виду невообразимо нарастающего шума, я заключил словами: „Ответ, который вы желаете от меня услышать, вам дадут 19 января (день выборов) германские рабочие“.

Кровавый сочельник.

Следующая неделя была полна душевной напряженности. Все предчувствовали новые взрывы. Непосредственным поводом к новым вспышкам кровавой распри послужила борьба за роспуск или по крайней мере сокращение так называемой „дивизии народного флота“. На городского коменданта Вельса, которому было поручено очищение захваченного матросами дворца, внезапно напали несколько сот матросов и арестовали его вместе с его сотрудниками. В то же время государственная канцелярия была окружена матросами, и таким образом было арестовано правительство. Я сидел за столом в одном знакомом доме, и когда в 4 часа дня я хотел отправиться в государственную канцелярию, то меня во-время удержал приехавший аккуратно в назначенное время шоффер. „Не уходите отсюда, правительство захвачено, матросы взбунтовались, на телефонной станции поставлена стража, нельзя нивойти, ни выйти из государственной канцелярии“. Не слишком приятно пораженный я спросил: „Как же вы выехали оттуда, если там все занято?“ „Меня спросили, куда я хочу ехать, я ответил, что должен ехать за вами; тогда один из матросов сказал: ну, тогда поезжайте скорее, его-то нам и не хватает“. Мои попытки снестись с государственной канцелярией по телефону были тщетны. Тогда я позвонил к военному министру Шейху, чтобы попросить его освободить правительство. Затем по счастью я вспомнил, что в государственной канцелярии есть городской телефон, по которому можно говорить, минуя центральную станцию канцелярии—№ 998. Через две минуты я говорил с Эбертом. Он рассказал мне, что произошло. Я сообщил ему, что уведомил министра Шейха и про-

сил об освобождении. Между тем Эберту уже тоже удалось установить связь с внешним миром. Со времени войны в государственной канцелярии остался, неизвестный ворвавшимся, аппарат и провод к главному командованию, который также не проходил через центральную станцию. Благодаря этому Эберту удалось прежде всего снестись с воинскими частями, которые под начальством генерала Лекиса только что вернулись с фронта и были на стороне правительства. К вечеру перед зданием канцелярии и позади него появились войска, прибытие которых заставило матросов, после шумных переговоров, удалиться. Таким образом, не будь прямых телефонных проводов, горсточка вооруженных людей могла бы сбросить правительство

Однако, комендант города Вельс и его сотрудники все еще были под арестом у матросов, которые отвели их в погреб. Перед вечером предводитель матросов Радке заявил сам, что он не ручается за жизнь Отто Вельса. Насколько движение разрослось, указывает то, что была сделана попытка захватить „Форвертс“. Так как Вельса ни в коем случае нельзя было оставлять без помощи, то ночью—я давно уже вернулся в государственную канцелярию, в то время, как „независимые“ члены правительства ушли из нее—мы отдали приказ военному министру Шейху освободить коменданта города. Вследствие этого, после бесполезных попыток к миролюбивым переговорам, утром в сочельник началась борьба за берлинский дворец. Этот кровавый сочельник еще очень жив в памяти. Орудийная стрельба повредила часть фасада. Новые переговоры привели, наконец, к окончанию сражения и освобождению Вельса. Потери были значительны на

обеих сторонах. Семьдесят, если не более, трупов лежало в сочельник на улицах Берлина.

Во время борьбы радикальные вожаки прилагали, казалось, усилия к прекращению гражданской братоубийственной войны. Но 25-го борьба вспыхнула снова в то время, как поднятые революционными старшинами массы осаждали и штурмовали здание „Форвертса“. 26 эта новая осада была прекращена. Следующие дни были посвящены, так сказать, генеральному смотру сил обеих сторон. Гигантскими демонстрациями социал-демократы показали, как мало тревожат их сторонников кровожадные бунтовщики. В это же время состоялась 1-ая общегосударственная конференция спартаковцев, на которой Роза Люксембург и Карл Либкнехт остались в меньшинстве, побежденные сверх-радикальным течением. В то же время независимые ушли из правительства, заявив, что не желают нести ответственность за кровопролития, которые были, однако, вызваны их собственными сторонниками. В виду этих событий прусское правительство постановило сместить независимого президента полиции Эйхгорна, который, узнав 24 декабря о борьбе вокруг дворца, лично предложил спартаковским организациям некоторых предприятий, как Шварцкопф и другие, прекратить работу и взять в полицейском президиуме оружие. Характерно для Эйхгорна, что он в это время получил жалованье от московского информационного бюро Роста. 5 января на место Эйхгорна назначен был мой друг Евгений Эрнст. В тот же день в Берлине состоялся ряд огромных собраний по поводу выборов в национальное собрание. И в тот же вечер снова вспыхнула гражданская война, с необычайной до тех пор силой и под предводительством Ледебура и Либкнехта, об'явивших себя новым пра-

вительством и на бумаге сместивших правительство Эберта-Шейдемана; был захвачен квартал, где помещаются редакции главнейших газет, и целый ряд общественных зданий.

Правительство Либкнехта и Ледебура и январский бунт.

Я был в первый раз после 9 ноября с несколькими друзьями в театре, когда меня позвали к телефону и сообщили, что снова вспыхнула гражданская война. Попытка проникнуть в квартиру одного знакомого и там по телефону получить более точные сведения оказалась неудачной, потому что вход в дом был уже занят солдатами. С большим трудом удалось нам ночью—за несколько дней до того, вместо выбывших независимых, в кабинет вступили Носке и Виссель—собраться в государственной канцелярии, где мы сидели без какой бы ни было вооруженной помощи и без возможности предотвратить разбойное бесчинство в Берлине. Важнее всего казалось добыть оружие. Это поручили Носке, который тотчас уехал, чтобы поискать сотрудников. Весь день, понедельник, как я уже рассказывал, наши товарищи по партии, не вооруженные, как бы живым валом окружали Вильгельмштрассе, куда наступавшие революционные отряды пытались передвинуть пулеметы с Унтер-дер-Линден и Лейпцигерштрассе.

В ночь на вторник пришли независимые. Каутский, Брейдис и Дитман, которые сами испугались господства кровожадных бунтарей, предложили свое посредничество. Пока они говорили с нами, спартаковский союз продолжал свою уличную войну и занял государственную типографию, управление железных дорог и два провиант-

ских склада. Весь Берлин был терроризирован уличными бунтовщиками. Отпечатанный в чужой типографии № „Форвертса“, был арестован и брошен в Шпрее. Переговоры—бесмысленная трата времени, потому что участники этих переговоров вовсе не управляли сражавшимися на баррикадах—продолжались, однако, не могли привести ни к какому результату, так как революционные старшины согласились освободить на известных условиях помещения буржуазных газет, но ни за что не желали освободить „Форвертса“. Спартакровский союз вообще в переговорах не участвовал. Между тем от Носке, который в неустанной, днем и ночью, работе, собрал в Далеме небольшой отряд, не было никаких известий. Это были самые тревожные дни, когда я ни на минуту не приходил домой и ночевал в государственной канцелярии, при непрерывной стрельбе пулеметов и взрывах ручных гранат. Там были устроены общие обеды, в которых, кроме народных депутатов, участвовали новый министр иностранных дел, граф Ранцау, а также Бааке и Раушер.

Наконец, в четверг депутация, все члены которой принадлежали к социал-демократической партии, объявила себя готовой очистить помещение „Форвертса“, если в ночь на пятницу с нашей стороны не будет военных действий. Но занимавшие помещения различных газет и правительственных учреждений заявили, что они не выпустят из рук своих завоеваний и уступят только силе. Это соответствовало также позиции Эйхгорна, который со своими приверженцами и с добытым ими оружием засел на пивоваренном заводе Бец и властвовал над северной частью Берлина, как разбойничий атаман. В переговорах прошло пять дней. Всего 10 дней отделяли нас от национального собрания. В пятницу Носке приехал

в государственную канцелярию, несмотря на все попытки спартаковцев поймать его по дороге туда. Мы заклинали его, наконец, выступить, хотя он не довел еще до конца своих приготовлений и во что бы то ни стало хотел избежать неудачи. В дождливую субботу, с нестро составленным отрядом, он пошел через Берлин и в то же утро потсдамские войска освободили „Форвертс“. В воскресенье к вечеру у разбойников были вырваны полицейский президиум и ряд помещений газет, а старая социал-демократическая партия исполинскою демонстрацией заявила свой протест против кровопролитных попыток к бунту истекшей спартаковской недели. Понадобился еще один день для того, чтобы убрать бунтовщические гнезда, возникшие в разных местах, но, всего за неделю до нашей победы в национальном собрании, было свергнуто правительство Либкнехта и Ледбура и их состоявшая из фанатиков и разбойников свита.

В ночь на среду, после кровавой недели, я отправился в Кассель, чтобы предстать перед моими избирателями хоть на одном собрании.

Тотчас по приезде я, по приглашению генерала Гренера, явился в Вильгельмстее, чтобы обсудить вместе с генералом и фельдмаршалом Гинденбургом некоторые вопросы. Там до меня дошло известие о последнем и самом страшном последствии спартаковской недели, об убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Правительство настоятельно просило меня как можно скорее вернуться в Берлин. Был составлен экстренный поезд, который ночью должен был меня доставить в Берлин. Маршрут у поезда был самый невообразимый, потому что с каждой следующей станции приходило известие, что спартаковцы его остановят и меня задержат. В пят-

ницу утром, 17 января, я приехал в Берлин, в гущу ужасного возбуждения, вызванного смертью обоих спартаковских вожаков, ужасные подробности которой становились постепенно известны. Я могу только повторить то, что под первым впечатлением я сказал на собрании, в Крытом Рынке в Касселе: „Я сожалею о смерти обоих искренно и по серьезным причинам. День за днем они призывали народ к оружию и к насильственному ниспровержению правительства. И сами они пали жертвой своей собственной кровожадной тактики“.

Таковы были условия, в которых нам приходилось работать. Лучше всего эту работу, среди постоянного возбуждения и в столь же постоянной опасности характеризует то, что на следующий день после убийства Либкнехта мы должны были установить программу своих работ по заключению мира, иначе говоря, должны были обсуждать высшие интересы Германии в то время, как за нами одичавший от нужды и голода и подстрекаемый вожаками народ уничтожал сам себя и, может быть, все результаты нашей работы.

Мирный договор и кабинет Шейдемана.

Попытка начать переговоры. — Кабинет изменяет мою речь. — Договор, по мнению правительства, неприемлем. — Агитация независимых: немедленное подписание. — Президент республики согласен со мной. — Наши контр-предложения и конференция в Спа. — Эрцбергер требует обсуждения последствий принятия и отклонения договора. — Моя борьба за отклонение. — Моя отставка и последний акт крушения.

Эта книга озаглавлена словом: „Крушение“. Она излагает этап за этапом ошибки нашей военной политики, которым имя половинчатость и бесчестность. Она показывает неустанные, но к сожалению, бесплодные попытки социал-демократии внести единство воли в хаос нерешительности. Она характеризует работу, которую мои товарищи выполняли после 9 ноября, среди смертельных опасностей и жертвуя партийно-политическими интересами. Она приводит в настоящей заключительной главе к последнему акту завершенного и признанного крушения, к Версальскому миру.

Я говорю не о партии и ее позиции — хотя многочисленные товарищи по партии были на моей стороне — я говорю о себе. Моей задачей не может быть написать историю борьбы за мир. Я хочу лишь выявить некоторые руководящие пункты, которые были решающим для противников этого неслыханного дого-

вора. Для меня навсегда останется самым кричащим примером самой постыдной травли поведение правых, которые во время этих переговоров возлагали на меня ответственность, которую именно я каждую минуту от себя отклонял. Настолько сильны были результаты травли против Шейдсмановского мира, который после навязанного нам, уничтожающего мирного договора несомненно был бы встречен более, чем охотно, с величайшей готовностью.

Обсуждение вопросов мира началось уже во время 6-ти народных уполномоченных и, вместе с переговорами о ставшем к тому времени необходимым продлении перемирия, определили физиономию первых месяцев Веймара. Нужно было не только изучить каждую из подлежащих областей, но и выбрать подходящих людей, сделать необходимые организационные приготовления и произвести выбор среди гигантского числа предложенных и необходимых экспертов. Все эти вопросы требовали, правда, длительного обсуждения, но их еще не осложнял принципиальный вопрос о подписании или неподписании договора. Только тогда, когда мирные предложения противников были перед нами и вся Германия, сначала в оцепенении, а затем стихийным народным возмущением, встретила эту беспощадную волю к уничтожению, только тогда предложение немедленно отклонить мир, было побеждено волею начать переговоры во что бы то ни стало и таким образом перейти в русло, может быть, еще мыслимого соглашения.

Кабинет изменяет мою речь.

Эту политически единственно мыслимую волю я выразил в докладе от имени кабинета, который сделал тотчас же после вручения Версальского доку-

мента, в мирной комиссии национального собрания, заседавшей в помещении министерства финансов. Я не жалел слов осуждения, но в то же время ука-зывал на единственный лозунг минуты вести переговоры и искать возможности переговоров. Та же мысль руководила мной при подготовке речи, которую я должен был произнести перед национальным собранием. Мне, твердо решившему, что договор в предложенной форме должен быть отклонен, нужен был не дешевый успех, а сохранение всякой возможности договориться. Поэтому в решающем месте проекта моей речи говорилось: „Я не буду говорить об опасностях положительного или отрицательного ответа. Этому еще будет время, если будет грозить невероятное положение, чтобы на земле существовал подобный акт, а из миллионов и миллионов грудей, во всех странах и без различия партий, не вырвался крик: долой этот убийственный замысел“.

В заседании кабинета в понедельник утром, 12 мая, безусловного отклонения предложенной настойчиво требовали главным образом демократы. Другие министры, за исключением одного Давида, который стал возражать, впрочем, лишь после закрытия заседания, присоединились к демократам. Таким образом, вместо положения „долой этот убийственный замысел“, возникло другое: „с точки зрения правительства этот договор неприемлем“. Тем самым вопрос был, по моему, исчерпан для членов кабинета настолько, поскольку для них отныне было немислимо подписание договора, разве бы были сделаны какие-нибудь весьма существенные уступки.

Известно, что „независимые“ вели бессмысленную политику, использовав слово: „нет“, произнесенное правительством в национальном собрании, в каче-

стве повода к демонстрациям за немедленное подписание договора.

Ничто не повредило нам в этой стадии дела больше этого бессовестного поступка; бессовестного потому, что его вдохновители хорошо знали, что о новой войне нельзя и думать, и что никто в правительстве и не думал о ней. Поэтому социал-демократия ответила 13 мая внушительной демонстрацией, на которой я говорил: „В нынешнем правительстве нет ни одного человека, который был бы так бесчестен, чтобы обещать то, выполнение чего он считает невозможным... мы хотим мира, мы хотим мира на основе Вильсоновских пунктов, мы готовы к переговорам. Все наши стремления направлены на открытие переговоров, которые не должны отступать от того, что действительно может принести общий мир“. Я думал, политик не может быть последовательнее с самого начала до минуты горького конца.

Соответственно этому, линия, предуказанная кабинету, казалась совершенно определенной. Эберт, с которым я говорил не раз, заявлял не только нашим общим друзьям, но и публично, что держится в вопросе о мире тех взглядов, которые я много раз высказывал. Я сказал ему самым определенным образом, что не подпишу своего имени под договором, который позорил бы имя Германии и возлагал на нее обязанности, в невозможности выполнения которых мы убеждены. Безусловная честность в отношении Антанты, так же как и в отношении самих себя—необходимое условие для того, чтобы за границей и дома нас считали честными людьми. Как в кабинете, так и говоря с Эбертом, я подчеркивал, что, по моему мнению, будущее принадлежит политикам, которые откажутся от этого позор-

ного договора. Я не подпишу его, даже если подписание потребует партия. Пусть партия заставит, как это мне ни тяжело, подписать кого угодно другого. Я принимал во внимание тот же позор, грозящий имени и чести германского народа, и своего имени не поставлю под договором, в котором мы признаем, что враги могут делать с нами, что хотят, что мы отбросы человечества—мы вообще, немцы!

Как я уже говорил, Эберт был вполне со мной согласен и, казалось, непоколебим в своих взглядах. Он говорил, что и не думает о возможности другой позиции. Я сказал ему, что его положение лучше моего, потому что ему не приходится публично брать на себя обязательства; как это вынуждены делать выступающие от имени его правительства.

Контр-предложения и конференция в Спа.

Следующие дни были посвящены выработке наших контр-предложений. Часть работы должна была быть сделана в Версале, под непосредственным впечатлением от встречи с противниками, другая часть должна была быть выполнена соответствующими ведомствами в Берлине. Что таким образом должны были возникнуть противоречия и недоразумения, было несомненно, но избежать их было невозможно. Надо было по возможности смягчить их, особенно, в предложениях о репарациях. Уже тогда одним из самых невыносимых последствий Версальского договора представлялось то, что наши обязательства по возмещению убытков не были точно ограничены и подлежали дальнейшему определению в будущем и без нашего участия. Обсуждению всех этих вопросов была посвящена конференция 23 мая в Спа. На конференцию приехали из Берлина Дернбург, Эрц-

бергер, Белль и я, из Версаля шесть членов делегации: граф Раппау, Гисберге, Ландсберг, Лейнерт, Мельхиор и Шюклинг, кроме них—директор Симоне и несколько экспертов, как фон-Штраус и тайный советник Гилгер. Прежде всего обсуждению подлежали очень важные технические вопросы. При этом было решено впредь воздерживаться от нот по отдельным вопросам, от которых Антанте было бы слишком легко отмахнуться. Все еще не разрешенные вопросы должны были быть включены в общее контр-предложение, которого основные линии должны были быть составлены правительством, а редакция—делегацией, и которое должно было затем поступить на окончательное заключение экспертов, однако, без права последних на внесение принципиальных изменений.

Здесь был разрешен и важнейший вопрос о возмещении некоторых убытков огулом и затем о передаче его для окончательной формулировки совместному совещанию с делегатами Версальской финансовой комиссии. Руководящие указания, выдвинутые главным образом д-ром Мельхиором и принятые в начале отвергавшим их Дернбургом, были таковы: не отказываясь от ограничений, установленных первоначальной финансовой программой министерства финансов, мы предлагаем в покрытие общих убытков первый взнос в 20 миллиардов. Уже сделанные, а также имеющие быть сделанными взносы натурой подлежат зачету. Остаток вносится до 1921 года углем. Кроме того, предлагается произвести платежи в пределах программы Вильсона, однако, не превышая, со включением бельгийского долга союзникам и первого взноса в один миллиард, общей суммы в 100 миллиардов⁴⁾.

Эти руководящие указания определили затем и наше контр-предложение.

Эрцбергер требует обсуждения последствий принятия и отклонения предложений.

Уже на конференции в Спа прозвучала тема об окончательном принятии или отклонении договора.

Решение, конечно, принято быть не могло, ибо оно должно было быть делом кабинета. Однако, Ландсберг, меньше всех считая возможным добиться уступок со стороны Антанты, усматривал последнее, быть может, действительное средство в том, чтобы, в случае бесповоротности условий, наша делегация уехала и предложила кабинету отклонить предложение. Первого июня после заседания кабинета, в мою комнату в канцлерском доме пришел Эрцбергер и попросил устроить особое заседание для обсуждения мирного договора. Я сначала был против этого, потому что следовало подождать, пока будут окончательно готовы тиски, в которых, с нашего согласия, желают зажать германский народ. Но Эрцбергер стал настаивать на таком заседании, так что, в конце концов, я обещал, но не иначе, как под одним хорошо мною взвешенным условием: в качестве основы прений, Эрцбергер должен был представить меморандум, в котором должны были быть им изложены предполагаемые им последствия принятия и отклонения договора. Эрцбергер согласился исполнить мое желание.

3-го и 4-го июня кабинет на основе положений Эрцбергера занимался „предполагаемыми последствиями“, содержание которых я здесь воспроизведу¹⁾:

¹⁾ Эрцбергер опубликовал этот документ в своих воспоминаниях. Однако, полноты ради, а также в виду некоторых отступлений, я решил не отказываться от воспроизведения.

В случае подписания мира.

Невероятно тяжелые обязательства будут обременять германский народ.

1. Внешне-политические последствия.

Состояние войны окончится.

Блокада прекратится.

Границы откроются, в страну станет прибывать продовольствие и сырье, германский купец сможет покупать товары в кредит от частных лиц.

Экспорт может возобновиться.

Военнослужащие могут вернуться на родину.

Германия восстановит за границей свои консульские представительства.

Польша будет принуждена отказаться от своих захватных планов.

Единство государств будет сохранено.

2. Внутренне-политические последствия.

Время налогов будет чрезвычайно тяжело, однако: увеличение ввоза продовольствия, товаров и сырья создаст успокоение и некоторое уравнение условий жизни.

Работы могут быть возобновлены в возрастающем объеме. Наряду с удовлетворением потребностей страны выдвинется снова внешняя торговля.

Валюта поднимется. Вызванное этим удешевление жизни улучшит положение широких масс.

Притягательная сила большевизма уменьшится.

Любовь к труду и его производительность будут снова возрастать.

Усиление добычи угля улучшит средства сообщения.

Продовольствие, товары и сырье являются предпосылками любви к труду и возможности трудиться, которые необходимы для осуществления мирного договора.

Нынешнее правительство, по всей вероятности, останется у власти.

Справа и со стороны некоторой части либеральной буржуазии возгорится жестокая борьба против правительства. Не исключены и военные бунты против правительства. Весьма вероятно, что эти события начнутся с востока.

Надо считаться и с тем, что области востока могут с оружием в руках восстать против осуществления мирного договора. Оттуда же возникнут попытки бунтовать против правительства. Можно, однако, думать, что движение скоро заглохло бы в виду безусловного миролюбия значительного большинства народа, так же как вследствие явного улучшения общего положения с заключением мира.

Если мир не будет подписан:

1. Внешне-политические последствия.

Война будет возобновлена, вероятнее всего после предварения за три дня о прекращении перемирия.

Союзники и притом все, в том числе и американцы, двинутся вперед широким фронтом и дойдут по меньшей мере до линии, проходящей через Кассель параллельно Рейну, а может быть и дальше.

В частности Рурская область будет занята.

Кроме того есть сведения, что союзники хотят создать корридор от Франкфурта до Праги для того, чтобы отторгнуть северную Германию от южной.

Блокада будет усилена. Границы — герметически закупорены.

Нейтральные государства уже получили от союзников предписание прекратить всякий ввоз в Германию и вывоз оттуда.

Так как будет восстановлено состояние войны, то население, способное носить оружие, может быть объявлено военнопленным.

С остальным населением обширных занятых местностей будут поступать по законам войны. Можно ожидать сильнейших репрессий со стороны союзников.

Реквизиции будут практиковаться в широчайших размерах.

С востока в страну вторгнутся поляки.

2. Внутренне-политические последствия.

Общая нужда в продовольствии, товарах и сырье. Население из пограничных местностей на востоке и западе будет стекаться внутрь страны и вызывать невероятное удорожание жизни.

Занятие Рурской области отнимет уголь и потому следует ожидать полного крушения транспорта и чрез несколько недель смертельного голода в больших городах.

Большевизм, который будет считать, что настал его час, поднимет голову.

Грабежи и убийства будут повседневным явлением.

В общем смятении не может быть правильных сношений — и отсюда распыление Германии.

Органы власти будут лишены возможности работать, ибо будут лишены авторитета и не смогут получать указаний свыше. Государственная машина остановится.

Недостаток продовольствия и самых необходимых товаров вызовет безумное повышение цен. Его последствием будет полное обесценение денег.

В Германии установятся русские условия жизни.

Из страха террора многочисленные буржуазные элементы, как в России, бросятся в объятия крайней левой. Другая часть устремится вправо.

Кровопрлитная гражданская война, прежде всего в Берлине и в больших городах.

Германское государство распадется.

Отдельные свободные государства не смогут устоять против давления и предложений союзников заключить с ними мир. Если уже теперь такие тенденции проявляются в Баварии, в Рейнской провинции и на востоке, то тем более этого следует ждать, когда произойдет полное крушение Германии. По крайней мере, Рейнская республика — это вопрос дней. Если эти тенденции воплотятся в жизнь, то союзники так прочно закрепят за собою соответствующие отдельные государства, что германское государство в целом фактически перестанет существовать.

Но и меньшие германские области объявят себя независимыми и будут искать сближения с нашими противниками. Карта германского государства исчезнет и на ее месте появится пестрая сеть маленьких государств, о которой всегда так горячо мечтала Франция.

Тем самым вся Германия попадет в территориальную зависимость от союзников, и если бы после всего этого, все-таки, был заключен мир, то обломкам Германии, совершенно разрушенной и истощенной, придется понести новые тяжелые жертвы.

Но даже если допустить менее катастрофические последствия продвижения союзников, то и тогда Рейнская провинция будет все же утрачена, и единство Германии нарушено. После небольшого продви-

жения вперед, будет навязан еще более тяжелый мир.

Расчет на то, что союзники вступят в управление поверженной в прах Германией, неоснователен. Сильное течение в среде союзников (Франция, Англия) желает обессилению Германии и потому союзники, уничтожив единство Германии, предоставят отдельные ее части самим себе.

Последствия вступления союзников в Германию, которые будут вызваны неподписанием договора, могут быть сведены к следующему:

1) Разрушение союзного государства, распадение его на отдельные небольшие государства. Ненависть этих государств к Пруссии, на которую будет возлагаться ответственность за катастрофу, сделает раздробление отдельных государств длительным.

2) Мир вскоре был бы заключен не единой Германией, а отдельными государствами, которым было бы поставлено условие не объединяться в будущем. Этот мир был бы еще хуже нынешнего.

3) Падение правительства и замена его независимыми и коммунистами. Распадение, полное отсутствие порядка в стране.

Моя борьба за отклонение.

5-го июня, т. е. под самым свежим впечатлением этих заседаний, я записал в дневнике следующее:

„...Я словно разбит всем телом. Или я не понимаю всего ужаса положения нашего народа, если мы скажем нет? Разве Эрцбергер, Носке и Давид настолько политически умнее меня? Но — если это должно произойти, против чего я возражаю, страстно возражаю даже и теперь, после заседания кабинета, в котором участвовали также Эберт и прус-

саки, то неужели мы должны сказать „да“ — мы, сидящие в кабинете и уже сказавшие перед всем миром „нет?“ „Наш народ так подавлен в национальном сознании, что мы должны подписать“. „Наш народ так подавлен в моральном и национальном сознании“ — три раза говорил Носке позавчера. А вдохновителем этой минуты был Эрцбергер, недоступный вчера каким бы то ни было доводам. Из числа демократов высказались решительно за отклонение: Готгейн, Дернбург и Прейс. Гисбертс, из центра, энергично возражал против подписания, опираясь особенно на соображения чести.

Я был первым социал-демократом, высказавшимся за отклонение. Избегая громких слов, я определенно указал, что ни в коем случае не хочу вступить в противоречие с тем, что заявлял уже публично, отчасти в качестве президента кабинета. Заметки, которые я делал на том же листке, где записывал фамилии ораторов, я сохраняю, как великое сокровище, к которому обращусь, если меня посетит чувство самоуверенности. Привожу некоторые из моих положений:

„Не отрицаю некоторого значения нашего заседания. Но не будем заблуждаться — решения не могут быть приняты, пока у нас нет перед глазами ультиматума. Мы будем решать дело по существу, каждый с лучшим намерением, в интересах страны и откинув всякие личные соображения. Я заявил публично так же, как и некоторым из вас, что этого договора я не подпишу. Я сказал 12 мая в национальном собрании: какой честный человек, не говорю — какой немец, но какой честный, верный своему слову человек может пойти на эти условия? Какая рука не дрогнет, надевая на себя и на нас эти оковы? Я убежден, что политическое будущее

принадлежит единственно тем, кто на эти требования скажут прямо: нет! Допускаю, что государство в конце концов должно будет уступить силе и сказать: да! Но одно я должен заверить: я не буду в числе тех, кто это сделает. Я считаю, что мы должны совершенно прямо и честно сказать Антанте: то, чего вы от нас требуете, невыполнимо. Если вы не хотите этого видеть, придите в Берлин и взгляните сами. Не требуйте от нас, чтобы мы были палачами своего собственного народа. Договор—даже при решительных уступках—невыносим. Поэтому для меня он клочок бумажки, на котором и моего имени не поставлю. То, что Эрдбергер говорит о распадении государства, если мы не подпишем мира, может быть с равным основанием сказано и на случай его подписания. Я прошу вас несколько не считаться лично со мной—поскольку заявления от вашего имени. Понятно, что поскольку речь идет лично обо мне, кабинет совершенно свободен в своих решениях. Очень энергично говорил против подписания договора Бауэр. Впрочем, важен не тон, в каком он говорил, а то, что он говорил против подписания. После Гисбертса, о котором я только что упоминал, говорил Эберт. Он остался верен себе. Он объявляет подписание мира невозможным. В качестве основательного человека, он останавливается на некоторых, особенно позорных условиях. Он остается при том, что уже неоднократно заявлял публично. Bravo Фриц! Ты тверд!

Очень хорош был Ландсберг. Я был вполне с ним согласен, когда он говорил, что Антанте надо предложить самой явиться в Берлин для осуществления своих требований (почти то же говорил и я). Его „нет!“ звучало бодряще-ясно. Виссель также говорил без обиняков: нет! За отклонение был и пруссак Гирш.

7-го июня. Сильно заботят меня намеки печати на то, что в кабинете есть разногласия по вопросу о подписании мира. Поведение „независимых“ я считаю позорным—„мы должны подписать“. На какие же уступки пойдут противники, если знают, что мы все равно подпишем что угодно?

До момента подписания мирного договора я сделал лишь несколько заметок. В воскресенье утром—это было 22 июня 1919 года,—когда члены национального собрания и правительство собрались в Веймарском театре для принятия Версальского договора, Ландсберг и я сложили с себя полномочия и уехали в Берлин.

Крушение было завершено.

О Г Л А В Л Е Н И Е.

	Стран.
Предисловие к немецкому изданию	18
На пороге мировой войны	21
Позиция социал-демократической партии в отноше- ний войны	26
«За мир на основах соглашения»	45
Беспощадная подводная война	76
Две массовые забастовки 1917 и 18 годов	94
Борьба за резолюцию о мире	118
Ответ папе	150
Стокгольмская конференция	159
Путь к революционной России	203
Малая война в Берлине	243
Первое парламентское правительство и крушение империи	292
Революция	275
Мирный договор и кабинет Шейдемана	311